Н. И. Алексеева
Одна жизнь —
два мира

Нина Ивановна Алексеева

Одна жизнь – два мира

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2785665
Одна жизнь – два мира: Языки славянской культуры; Москва; 2010
ISBN 978-5-9551-0363-1

Аннотация

В своей автобиографической книге Нина Ивановна Алексеева (1913–2009) повествует о судьбе своей семьи в разные периоды жизни в СССР и за рубежом, куда ее мужа, Кирилла Михайловича Алексеева, направили по линии Наркомвнешторга в Мексику в начале мая 1944 года. После гибели в авиакатастрофе посла СССР в Мексике К. А. Уманского, в ноябре 1946 года, семья Алексеевых эмигрировала в США. Одна из причин вынужденной эмиграции – срочный вызов Алексеевых в Москву: судя по всему, стало известно, что Нина Ивановна – дочь врага народа, большевика Ивана Саутенко, репрессированного в 1937 году.

Затем последовали длительные испытания, связанные с оформлением гражданства США. Не без помощи Александры Львовны Толстой и ее друзей, семья получила сначала вид на жительство, а затем и американское гражданство.

После смерти мужа и сына Нина Ивановна решила опубликовать мемуары о «двух мирах»: о своей долгой, полной интересных встреч (с политиками, людьми искусства и науки) и невероятных событий жизни в СССР, Мексике и США.

Живя на чужбине в течение долгого времени, ее не покидала мысль о возвращении на родину, которую она посетила последний раз за три месяца до своей кончины 31 декабря 2009 года…

Содержание

Глен-Ков 4
Мой папа – большевик 7
Капризы памяти 7
Беспорядки в стране 12
Три всадника 16
Беспокойная жизнь 18
Мы едем к папе 25
В дибровском лесу 29
Наш Петя-пулеметчик женится 35
Конец банды Махно 38
Отстрелялись! 44
Смысл жизни моего отца 48
Закат НЭПа 65
Моя подруга Зоя 70
Преданность и предательство 89
Как у Христа за пазухой 94
В Москву, в институт цветных металлов и золота 94
Эксперименты в области образования 105
Первая производственная практика 117
Риддерский металлургический комбинат 122
Второй курс 130
Красноуральский медеплавильный комбинат 133
Третий курс 140
Встречи с женой Сталина 143
Конец ознакомительного фрагмента. 147

Нина Ивановна Алексеева
Одна жизнь – два мира

Глен-Ков

Прошло много, много лет. Много воды утекло и много крови было пролито за эти годы, и я, до мозга костей советский человек, очутилась в богатой, обильной, но в холодной и совсем мне чужой стране.

Я ходила вдоль берега залива в Глен-Ков, и ничего, абсолютно ничего мне здесь не напоминало мое ласковое, уютное, любимое с детства Азовское море, даже всплеск волны казался мне не тот. Не только тоска, а физическая боль давила меня. Все, казалось, происходит в каком-то кошмарном сне.

Почему я здесь, а не там, в той стране, которую я любила, люблю и любить буду до самой смерти.

Слова «предатель, изменник» ко мне не подходят ни с какой точки зрения.

Я никогда, ни при каких обстоятельствах свою страну не предавала. Я никогда ей ни в мыслях, ни в душе, ни во сне, ни наяву никогда не изменила. И в те страшные годы во время войны так же, как мой брат, погибший в Ленинграде, готова была все силы отдать и работать, работать, не считаясь ни с чем, на фронте, на производстве, лишь бы это было для спасения моей Родины. И только случай, какие бывают во время войны, сохранил мне жизнь.

Оказалась я здесь только из-за того, что не желала, чтобы я и мои дети стали еще одной невинной жертвой бессмысленного сталинского террора, именно сталинского террора.

Я в это время уже твердо считала, что все его чудовищные, жестокие преступления творились им *сознательно,* при помощи каких-то темных сил, пробравшихся в правительство и умно манипулировавших им. Их задача заключалась в том, чтобы убрать, уничтожить самые лучшие, самые образованные, самые преданные кадры коммунистов, которые принимали наиболее активное участие в происшедшей революции и искренне, честно стремились создать в нашей стране наилучшие условия жизни для людей. А также убрать, уничтожить миллионы беспартийных и партийных тружеников, и тем самым создать тот кошмарный голод в стране, особенно с того момента как Сталин начал проводить эту бесчеловечно жестокую коллективизацию, которая восстановила основную часть населения нашей страны против советской власти.

Я всегда считала и считаю, что при социалистической системе жизнь в Советском Союзе должна, могла быть и была бы самой прекрасной, самой свободной, богатой и счастливой, и не только в нашей стране, но и на всей планете. Революция дала нашей стране все возможности, чтобы осуществить эту мечту. Но с тех пор как Сталин взял все бразды правления в свои руки, он и только он, как будто получая какие-то инструкции откуда-то, делал и сделал все, чтобы как можно скорее загубить все, он начал гнать, сажать и уничтожать всех неугодных ему.

Во всех этих ужасах был *виновен* Сталин, и только он.

Войны, я глубоко уверена, не было бы, если бы Сталин не уничтожил весь командный состав нашей армии и миллионы советских людей, подготовив тем самым Гитлеру почву для его «молниеносной войны». Ко всем предыдущим его злодеяниям надо отнести миллионы погибших – лучший цвет нашей страны – и миллионы искалеченных в этой самой жестокой, самой беспощадно страшной войне.

Трудно было беспомощно наблюдать, и больно было видеть тот непоправимый вред, который нанес и продолжал наносить не только нашей стране, но и коммунистическим партиям всего мира этот обезумевший от власти кровопийца.

Поэтому, и только поэтому мы очутились здесь, в этой чужой, неуютной для меня, самодовольной, самовлюбленной богатой стране.

И вот однажды на закате яркого солнечного дня после прогулки я присела с детьми отдохнуть на берегу залива в Глен-Ков.

Здесь же по берегу прохаживался пожилой, крепко упитанный человек. Услышав, что я с детьми говорю по-русски, он подошел и присел на край лавочки.

– Оце диты так здорово говорять по-русски, – заговорил он с сильным русско-украинским акцентом. Слово за слово он начал рассказывать о себе.

– Откуда вы? – спросила я.

– Я, я из Мариуполя. Такий город е на берегу Азовського моря.

Из Мариуполя! Я была радостно удивлена. Впервые здесь на чужбине я встретила человека из Мариуполя, который жил в том же городе, где я родилась, ходил по тем же улицам, что и я, дышал тем же воздухом. И я засыпала его вопросами:

– Чем вы там занимались? Что вы делали? Как и когда вы сюда попали?

– Служив у Генерала Деникина у карателях.

– Что же вы делали у карателях?

– Вышалы жидив та большевикив на каждому стовбы.

– И много вы их перевешали? – спросила я с бьющимся от волнения сердцем, вспомнив как у нас в доме искали оружие, как у меня на глазах уводили в тюрьму мать, дедушку и как охотились не только за моим отцом и за его друзьями, но и за многими молодыми ребятами, удиравшими от мобилизации в Белую армию, и как на столбах действительно висели трупы после ухода всяких «доблестных дроздовцев».

– Достаточно много, – гордо ответил он. – Та ви же не знаете, що це таке город Мариуполь, це було таке большевистске гниздо. Я був начальником карательного отряда и мав задание зловиты цилу шайку заядлых партизан – коммунистив. Головой той шайки партизанив був такий чернявый, вси казалы що вин грек, а я знаю що його батько из Таганрога из донских козакив.

Я замерла, услышав так неожиданно исповедь из уст карателя, как он охотился за моим отцом. Мне было жутко слушать, а он продолжал, упиваясь своими воспоминаниями, рассказывать о своих «доблестных походах».

– Стильки раз вин почти був у нас в руках, та мы уже и столб для него приготовилы, та вин выскользав у нас миж пальцив, як та нечиста сила, такий вин був неуловимый.

Я настолько была потрясена исповедью этого деникинского карателя, что сидела как прикованная к скамейке. Он иногда упоминал даже имена, кого они поймали, кого повесили…

А ночью, уложив детей спать, я до утра не могла уснуть, не могла успокоиться и ходила, ходила и перебирала, перебирала в голове до мельчайших подробностей все, что сохранилось в памяти за те годы. Я просто не могла найти себе места, и иногда такая страшная боль сжимала мне сердце, что казалось, я не вынесу ее. В горле стоял комок. Как же так могло случиться, как же так получилось, что я, дочь этого заядлого партизана-коммуниста, которого деникинцы собирались повесить и уже столб для него приготовили, сидела рядом с этим карателем и слушала исповедь о его «доблестных» походах, а моего отца, того самого заядлого коммуниста, за которым они охотились и хотели повесить, арестовала, пытала, казнила, как «врага народа», Советская власть после двадцати лет своего существования. Та власть, за которую он горячо боролся и готов был жизнь отдать, и не только он, а многие такие же, как и он, его соратники, которые также погибли или погибали в тюрьмах и в лагерях.

Мне хотелось не плакать, а просто кричать. Я ходила и стонала как раненый зверь. И в эту ночь мои детские годы стали мелькать в моей памяти, иногда ясно и отчетливо, как будто все произошло вчера, а иногда смутно и отрывисто, как на старой кинопленке.

Я не помню числа, я не помню месяца и года, я только помню, что был ясный, яркий солнечный день, было нестерпимо жарко, очень хотелось пить.

В этот день по улицам шли, шли и шли бесконечные, радостные, веселые колонны демонстрантов под новенькими алыми знаменами, от которых день казался еще более ярким, веселым и праздничным. На груди у всех алели красные банты, гремел духовой оркестр, и воздух был насыщен звуками музыки и песен. Пели «Марсельезу», «Варшавянку», «Интернационал», и эти гордые революционные песни остались у меня в памяти на всю жизнь. И до сих пор, когда я их слышу, я вспоминаю именно эту демонстрацию, и мне кажется, что так красиво, так гордо и с таким энтузиазмом их не сможет петь никто, никогда и нигде на свете.

Я не понимала ни смысла, ни содержания происходившего, но меня все равно волновало всеобще радостное возбуждение и что-то новое, волнующее было у всех на лицах. С высоких плеч демонстрантов я видела вокруг себя радостных, счастливых людей, и среди них моих родителей. Более веселого, счастливого и торжественного праздника я в жизни больше не помню.

Демонстранты окружили трибуну, с трибуны говорили многие, но запомнила я только моего отца, и он никогда не изгладится у меня из памяти.

Мой папа – большевик

Капризы памяти

Какую злую шутку играет с человеком память. Я легко могу забыть и забываю, что произошло вчера, и так ясно помню то, что происходило, когда я была почти ребенком, в 5-7-летнем возрасте, и даже раньше.

То, что отпечаталось в те далекие детские годы на чистой пленке нашей свежей детской памяти, остается глубоко и навсегда в наших воспоминаниях.

Я помню звуки, запахи, цвета и даже вкус того времени. И даже сейчас, когда я услышу или увижу какую-либо вещь, картину, песню или просто запах, напоминающие мне то далекое прошлое, у меня вдруг замирает сердце от щемящей, тоскливой радости или грустной, тоскливой боли.

Это мой папа!

Неожиданная суета и шум в доме разбудили меня. Любопытство преодолело желание снова уснуть, и я тихонько, чтобы не разбудить Шурика, встала с постели и прижала свой нос к застекленной двери. В столовой тускло горела лампа. Бабушка суетилась у стола, взволнованно и часто утирая нос и глаза передником.

В слабо освещенной комнате мое внимание привлек незнакомый мужчина: борода, усы и темные длинные волосы придавали ему непривлекательный вид.

Мама застыла, устремив на него счастливый взгляд. И вдруг они оба устремились к нам в спальню. Я быстро, как мышь, юркнула в постель, но через мгновенье я была уже в крепких объятиях незнакомца. Он горячо прижал меня к себе. Я прильнула к его колючей щеке, она была мокрой от слез. «Папа» – промелькнуло у меня в голове. Не выпуская меня, он взял на руки Шуру, но тот, увидев незнакомого «страшного дядю», рванулся к матери и громко заорал.

Брат несколько дней чуждался отца, но я была так счастлива, что всем знакомым докладывала: «А это мой папа!», как будто кто-то в этом сомневался.

После приезда отца в доме стало шумно и весело, появилось много новых, незнакомых лиц. Они что-то читали, о чем-то долго и горячо спорили – потом успокаивались и через некоторое время снова пускались в бурные дебаты, и так иногда было почти до утра.

Это были партийные товарищи моего отца, Ивана Федоровича Саутенко. После окончания реального училища он стал работать на заводе «Провиданс» в городе Мариуполь. Здесь же он начал принимать активное участие в рабочем движении и вскоре с группой таких же, как и он, молодых энтузиастов попал в тюрьму.

Бабушка Ирина

Бабушка Ирина, папина мама, славилась своим гостеприимством. Ее дом был излюбленным местом встреч прогрессивной молодежи, здесь все чувствовали себя просто и уютно.

Вечные диспуты и споры на политические темы в этом доме были первой школой моего отца.

Его мать, как любая мать, возлагала большие надежды на будущее своего единственного сына.

Но он, благодаря своему пылкому, честному характеру, очень рано, со школьной скамьи, как только окончил реальное училище, втянулся в подпольную деятельность революционно настроенной молодежи. Это была небольшая группа, но на Мариупольских заводах появились листовки с призывами требовать от администрации улучшения положения рабочих. Кончилось это тем, что некоторых участников этого подпольного центра арестовали.

Отец поступил на завод, чтобы продолжать свою деятельность среди рабочих.

Тогда бабушка поняла, что поступки ее сына не случайное заблуждение, а искренние убеждения, и что она виновата в том, что не смогла уберечь своего единственного ребенка от страшного в то время революционного движения среди прогрессивной молодежи и что она должна спасти своего Ваню.

Бабушка Ирина была в дружбе с родными нашей мамы, хотя и жили они в разных местах, и расстояние между ними было по тем временам довольно внушительное.

Как мама и папа поженились

Семья мамы была абсолютной противоположностью папиной семье.

В этой патриархальной семье отец был полновластным хозяином, и его слово было законом. Умный, всеми глубоко уважаемый, он был неизменным старшиной в этой уютной Македоновке, и все население шло к нему за советом. Надо было выдать замуж дочь или женить сына – шли советоваться к Ивану Семеновичу. Надо было что-то перестроить в хозяйстве, купить, продать – шли также к нему. Не было такой отрасли, в которой он не разобрался бы и не дал исчерпывающий совет, легко и просто разрешающий любую сложную семейную проблему.

Он также был на все руки мастер. Пришла соседка, попросила сделать бочку для огурцов. Пожалуйста. Он никогда никому ни в чем не отказывал.

Бочка была готова. Через день пришла снова:

– Иван Семенович, я посолила огурцы, но весь рассол вытек.

– Рассол вытек? – невозмутимо спросил дедушка, – а огурцы?

– Огурцы? Нет, – удивленно ответила женщина.

– Ну, так оно и должно было быть, ты же просила для огурцов, а не для рассола.

Женщина расхохоталась:

– Ну и шутник же ты, Иван Семенович.

В свободное от работы время, оседлав свой нос очками, читал, читал без конца и умел очень интересно все по-своему пересказывать, и все удивлялись:

– Ну и голова у вас Иван Семенович, откуда все это?

– Да что голова, голова это просто инструмент, которым надо уметь правильно пользоваться, а то ведь заржаветь может.

К нему и обратилась мать моего отца за советом и поддержкой: что делать, как спасти ее сына, как казалось ей, от неминуемой гибели?

Дедушке в сыновьях не везло, рождались одни девочки. Самая старшая Соня, ей было 17 лет, была сосватана за очень известного, очень богатого молодого врача в город Мариуполь.

Этот молодой человек даже не был с ней знаком, где-то встретил ее случайно и влюбился так, что немедленно послал к ее родным сватов. Это было время, когда дочерей выдавали замуж по выбору родителей, и ослушаться – это уже был «бунт».

Как мама рассказывала:

– Я ведь понятия не имела, кто он, я видела его только из окна своей комнаты. Но все уже поздравляли друг друга, будучи уверены, что сделка уже состоялась и я выйду замуж за него. Выходить замуж я вовсе не хотела, он слал мне дорогие подарки, а я всегда пряталась, когда он появлялся. Решал все отец.

Вот в это время бабушка Ирина и появилась со своей проблемой. И начались долгие разговоры о «заблудившемся» и «пропащем» Ване. Так вот и появился в ее жизни юноша ее возраста, и уже с такими твердыми убеждениями.

И в этой семье произошло неслыханное событие: Соня, почти накануне свадьбы, вернула все дорогие подарки, присланные ее блестящим женихом, и заявила, что выйдет замуж только за Ваню. Это заявление ошеломило всех родных. Даже дедушка, всегда уверенный и спокойный, растерялся. Надо знать обстановку и семейные устои того времени, чтобы понять, какую тяжелую миссию взяла на себя мама, когда за детей все решали родители. И особенно в отношении дочерей, да и вообще, что касалось женщин – это была особая статья. И ослушаться, в этих вот условиях, – это была просто «семейная революция». Тогда женщины, особенно молодые, могли появляться в мужском обществе только в исключительных случаях, а уж вмешиваться в разговор или выставлять свои требования вообще было немыслимо. Существовал еще такой обычай: невестка должна была молчать и даже не показываться на глаза свекру до тех пор, пока он не покупал ей дорогой подарок и этим как бы снимал с нее обет молчания. Об этом я узнала, когда вышла замуж младшая сестра мамы.

Задача мамы была по тем временам поистине героическая.

Родные отца были рады. Они думали, что семейная жизнь, дети отвлекут сына, вылечат его от опасной политической болезни. Но вскоре им пришлось глубоко разочароваться, т. к. не только Ваня не отказался от своей политической деятельности, но и Соня стала помогать ему, его мысли стали ее мыслями и его идеи – ее идеями.

Отец приобрел в лице своей жены сильную моральную поддержку. Она унаследовала от своего отца тот же сильный характер, который помог ей перенести тяжелейшие испытания, выпавшие на ее долю, и всегда всю жизнь работать и жить для других.

Когда мне было годика полтора, арестовали отца и вскоре после какой-то демонстрации арестовали мать. Я очутилась у бабушки Ирины. По рассказам всех, она так меня любила, что любой мой вздох, случайный кашель, плохой аппетит превращались в невероятное событие в доме. Говорят, что я росла здоровым, веселым ребенком.

Рождение брата Шурика

Спустя несколько месяцев друзья родных привезли мою мать с вечно плачущим больным ребенком, моим братом Шуриком, они вытащили ее из тюрьмы, т. к. она должна была вот-вот родить.

Считая, что ей дома быть опасно, они скрывали ее у себя. Роды были тяжелые. Врача поблизости не оказалось, пришлось его искать. Когда он пришел, мать лежала без сознания и с ней посиневший, с еле приметными признаками жизни ребенок. Только после долгих мучительных усилий удалось спасти ребенка и вернуть сознание матери. Мать долго и тяжело болела. Это испытание не прошло бесследно: она никогда больше не могла иметь детей.

Мама стала поправляться, но, несмотря даже на молодость и здоровый организм, из-за большой потери крови после родов это происходило медленно, и на руках у нее лежал худой, как скелет, больной ребенок. Ни внимательный уход заботливой бабушки, ни хорошее питание, ни врачи ничем не могли помочь. Все сходились на том, что ей надо примириться с тем, что он не жилец на свете.

И вдруг, когда она увидела, что ребенок почти перестал подавать признаки жизни, она схватила его и помчалась искать врача. Но по дороге ей изменили силы, и она опустилась на ступеньки чужого дома.

Очнулась она в незнакомой комнате, возле нее суетился седой маленький старичок.

– Где мой ребенок? Умер?!! – вскрикнула мама.

– Умер? С какой стати. Кто вам сказал такую глупость?

Старичок оказался хорошим, ласковым врачом, и мать рассказала ему все.

– Нет-нет, вы уж оставьте об этом думать. Мне вот уже 75 лет, и я полвека со смертью борюсь. Сын ваш будет жив, мы его подлечим, да и вас подлечить не мешает. А теперь скажите, откуда вы и кому сообщить, что вы здесь и чтобы о вас не волновались.

– Так, через несколько дней, – рассказывала мама, – горячо поблагодарив чудесного спасителя и нагруженная всевозможными лекарствами, я вернулась домой.

Не прошло и месяца, как ребенок улыбнулся во сне, а через годик его уже можно было ущипнуть за румяные пухленькие щечки. От болезни не осталось и следа. Он рос здоровым, крепким мальчиком. Как с самого начала, так и в дальнейшем, жизнь не баловала его, и только благодаря своему крепкому здоровью он мог с ней бороться. И даже во время блокады Ленинграда он писал нам, что только крепкое здоровье помогает ему выжить.

Немного о Мариуполе

Территория Северного Приазовья окончательно вошла в состав Российской Империи после победы России в русско-турецкой войне 1768–1774 гг.

Екатерина II мечтала освоить и заселить эти степные просторы надежными людьми. Узнав от греческого митрополита о тяжелом, бедственном положении находящихся под турецким гнетом греков, она предложила ему переселить греков из Турции на эти земли и выдала грекам-переселенцам дарственную грамоту на эту территорию.

Так в 1778 г. на берегу Азовского моря, в устье реки Кальмиус, где митрополит впервые ступил на берег с группой греков из Турции, спасавшихся от турецких притеснений, был заложен город с красивым названием Мариуполь. Бабушка рассказывала из воспоминаний ее родных, которые, кстати, были близкими родственниками этого митрополита, как турки издевались над греками – загоняли и запирали взрослых и детей в сараи и живьем сжигали их. Сюда же, при содействии митрополита, начали переселяться греки из Крыма и из других мест.

Таким образом, вокруг города Мариуполь появилась большая греческая колония, состоящая из 21 села со старинными красивыми греческими названиями, как: Старый Крым, Ялта, Гурзуф, Мангуш, Чермалык, Сартана, Македоновка и др, в каждом из которых жители говорили на разных греческих диалектах точно так же, как на многочисленных островах в Греции, и часто не понимали друг друга. Но обычаи были одни и те же и одежда стариков (а стариками мне казались все старше 30 лет), была такой, какую носят до сих пор на их исторической родине.

Молодое поколение, как ровесники моих родных, почти все уже вошли в колею новой жизни, все говорили по-русски, одевались и жили так же, как городские жители. А уже мое поколение полностью прижилось и чувствовало себя больше русскими, чем иностранцами. Любили Россию все – и старые, ни слова не говорившие по-русски, и молодые. Здесь они родились, здесь собирались они жить и умирать естественной смертью или защищая эту землю[1].

[1] Подробнее см. Исторические комментарии. Как возник город Мариуполь. С. 751.

Семейная идиллия

После освобождения отец стал работать в городе Мариуполе на трубопрокатном заводе «Никополь». Мы переехали к нему и поселились в рабочей колонии, где все дома как две капли воды были похожи друг на друга, и мы с братом часто терялись, как только попадали за калитку.

Улица этого заводского поселка освещалась электричеством, и я любила подкарауливать, как каждый вечер на высоком столбе у нашей калитки под белой тарелкой вдруг вспыхивала лампочка. Я привыкла к керосиновым лампам, и электрическое освещение было непонятно и таинственно для меня.

В это время отец возвращался с работы и мы, завидев знакомую походку, со всех ног бросались к нему навстречу, я повисала у него на шее, а брат очень ловко усаживался к нему на плечи, и к нам навстречу выходила веселая и счастливая мама.

Эта маленькая семейная идиллия продолжалась очень недолго. Город Мариуполь оказался одним из важных стратегических центров во время продолжительной и изнурительной гражданской войны. Как только началась война, мой отец стал одним из первых организаторов красногвардейских и партизанских отрядов на Мариупольщине.

Беспорядки в стране

Тяжелая изнурительная война России с Германией, продолжавшаяся с августа 1914 г. до 1917 г., довела страну до полной политической и хозяйственной разрухи. В Петрограде и в других городах проходили массовые демонстрации голодного населения. Да не только там, а по всей стране происходили огромные беспорядки уставшего от четырехлетней войны народа, в ответ на это повсюду усиленно шли аресты.[2]

Как рухнула монархия

23 февраля 1917 г. произошла, как тогда говорили, «Великая бескровная» революция. А 27 февраля 1917 г., когда весь Петроград фактически был уже в руках восставших, в один и тот же день были созданы совместно Совет рабочих и солдатских депутатов и Временный комитет Государственной думы во главе с председателем 4-й Думы монархистом Родзянко.

Царь под давлением со всех сторон *вынужден был отречься* от престола, но отрекся он не только за себя, но и за своего сына Алексея, в пользу своего брата Михаила Александровича.

Брат Николая II Михаил Александрович 3 марта 1917 г. также *подписал отречение* и тем самым передал всю власть Временному правительству.

Так рухнул 300-летний дом РОМАНОВЫХ.

Двоевластие

С первых же дней революции в стране, как тогда говорили, установилось своеобразное *двоевластие,* и идеи и интересы у них были совершенно разные.

С одной стороны, буржуазное Временное правительство, находясь под руководством помещиков и капиталистов, под председательством князя Львова, являясь органом диктатуры буржуазии и защищая ее интересы, требовало «войны до победного конца».

С другой стороны, *трудящиеся,* которые совершили революцию во имя мира, земли, хлеба, требовали от Советов рабочих и солдатских депутатов, органов революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства выполнения лозунгов, во имя которых и произошла революция: «Заводы и фабрики рабочим, землю – крестьянам».

17 апреля В. И. Ленин выступил в Таврическом дворце на совещании большевиков – членов 7-й Всероссийской конференции Советов и сказал: «Россия сейчас – самая свободная страна в мире из всех воюющих стран… Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности… с другой стороны, отсутствием насилия над массами».

Но под руководством Ленина в Петрограде быстро возобновилось издание газеты «Правда», обещавшей солдатам мир, рабочим – фабрики, крестьянам – землю. А уставший от войны народ тоже требовал хлеба, мира и свободы. *Лозунги большевиков оказались созвучны желанию народа.* Так как никто, кроме большевиков, ни в годы монархии, ни во время двоевластия, ни даже во время гражданской войны не хотел, не мог или боялся выразить волю народа, а все только требовали продолжать войну «за веру, царя и отечество» до победного конца. Но народ, который уже принес неисчислимые жертвы во имя этого, воевать за это никак не хотел[3].

---

[2] Подробности см. Исторические комментарии. Беспорядки в стране. С. 752.

[3] Подробнее см. Исторические комментарии. Как рухнула монархия. С. 753.

Папин учитель

В начале 1917 г., как только в Мариуполь дошли вести о Февральской революции и свержении самодержавия, все демократические партии вышли из подполья, и их основная задача заключалась в том, чтобы привлечь в свои ряды как можно больше членов. На площади напротив дома, где жили мы, были расставлены столы, заваленные всевозможной литературой: газетами, брошюрами, лозунгами, плакатами. Перед каждым из них стоял человек, до хрипоты зазывавший к себе, объяснявший, расхваливавший и доказывавший достоинства своей партии. Здесь были большевики, меньшевики, эсеры и многие, многие другие, даже анархисты.

Отец в это время уже был членом коммунистической партии большевиков, в которую он вступил по глубокому и твердому убеждению в том, что это самая честная, самая справедливая и самая неподкупная партия в мире, и за нее он готов был жизнь отдать.

Мы в это время жили в доме папиного учителя – старого большевика. Он только что вернулся из ссылки, парализованный, и с трудом передвигался из комнаты в комнату на коляске.

В комнате у него на высокой металлической подставке в клетке сидел красавец попугай, который замечательно насвистывал русские и украинские мелодии и ловко ворчал на нас, детей.

Этот дом, я помню, всегда был битком набит, как пчелиный улей, людьми. Николай Степанович, тяжело передвигаясь между ними на своей коляске, сиял от радости. Вытащили откуда-то из подвала печатный станок, появились новые, молодые веселые лица, которые с самого утра до поздней ночи о чем-то жарко спорили, что-то писали, что-то печатали, напечатанное куда-то уносили, откуда-то тащили то бумагу, то краски. Комнаты были завалены печатной литературой, попугай тоже стал более крикливым, старался всех перекричать.

Отца среди них не было. Он иногда быстро влетал в дом, здоровался со всеми, все бросались к нему с вопросами, как будто он один мог разрешить все их бурные споры. Он быстро отвечал и быстро убегал. Отец был одного возраста с ними, а мне казалось, что они к нему относятся как к человеку намного старше их и знающему все.

Отец принимал активное участие в создании Мариупольского комитета РСДРП(б). Председателем Комитета в первых выборах был избран большевик В. А. Варганов. После перевыборов он остался председателем Совета рабочих и солдатских депутатов, большая часть которого состояла также из большевиков.

Октябрьская революция

Итак, 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) было назначено открытие 2-го съезда Советов.

Военно-революционный комитет получил от ЦК партии большевиков распоряжение привести воинские части в полную боевую готовность и выступить накануне. Штаб восстания находился в Смольном. Туда и прибыл Ленин из Финляндии. Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде началось 24 октября 1917 г. до открытия съезда Советов 25 октября 1917 г.

Утром 25 октября 1917 г. были заняты все подступы к Зимнему дворцу, где заседало Временное правительство, которое оказалось в полной изоляции, т. к. ни одна воинская часть не поддержала его.

Временному правительству было предъявлено требование немедленно сдаться. Но оно отказалось, и в 9 ч. 40 мин. вечера красногвардейские отряды, солдаты, матросы под руко-

водством Антонова-Овсеенко при поддержке холостым выстрелом из 6-дюймовой пушки крейсера «Аврора» бросились на штурм Зимнего дворца, и в 2 ч. 10 мин. ночи Зимний дворец был взят.

В 10 часов утра Военно-революционный комитет объявил о свержении Временного правительства и переходе власти в руки Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.

Так 26 октября 1917 г. (8 ноября по новому стилю) вся власть перешла в руки Совета.

Крестьянам без всякого выкупа, по Ленинскому *«декрету о земле»,* было передано около 160 млн. гектаров земли. Крестьяне освобождались от ежегодных арендных платежей помещикам в сумме около 500 млн. рублей золотом.

В 2 ч. 30 мин. ночи был утвержден декрет об образовании первого советского правительства – Совета народных комиссаров. Председателем СНК съезд утвердил В. И. Ленина. Верховным главнокомандующим – Н. В. Крыленко[4].

Коммунары и коммунарки

В конце декабря 1917 г. восстали также рабочие заводов города Мариуполя. Им на помощь были направлены харьковские, московские и петербургские красногвардейские отряды, и после ожесточенных, тяжелых боев 12 января 1918 г. в Мариуполе была установлена советская власть.

Вновь организованные советы, во исполнение декрета советской власти, немедленно взяли под контроль металлургические заводы «Никополь» и «Русский Провиданс», национализировали государственные и частные банки. После издания 21 января 1918 г. декрета об отделении церкви от государства в школах были отменены занятия по закону божьему. А 19 марта 1918 г. Мариупольским советом было принято постановление о национализации земли в Мариупольском уезде и о создании первых коммун в уезде.

Так в нашем доме теперь появились коммунары и коммунарки. Они много курили. Это в нашем доме, где не только женщины, но и мужчины никогда не брали папирос в рот. Особенно помню одну веселую, энергичную Ольгу Николаевну. Она много курила и ела хлебные корки, густо натертые чесноком, сидеть близко возле нее было невозможно. Они надевали любую одежду, которая попадалась на глаза или которую они могли натянуть на себя, и в ней спокойно и бесцеремонно уходили. Такое у них было примитивное представление о коммунах. Мама относилась к этому спокойно, как к должному:

– Ах, – говорила она после поисков какой-либо вещи, – я забыла, ее надела Лиза или Оля.

Бабушка не могла к этому привыкнуть, особенно к *табачно-чесночному* запаху, и долго проветривала комнаты после их ухода.

Средств к существованию у нас не было, и мама, чтобы прокормить нас, сидела днем и ночью, согнувшись над швейной машинкой, и строчила, строчила без конца. Наша комната, которую я помню до сих пор, была заполнена тонкими кружевами и ажурным бельем или ярко красными полотнищами и бантами во время демонстраций.

[4] Подробности см. Исторические комментарии. Октябрьская революция. С. 757.

Добровольческая армия

Атаман Всевеликого Войска Донского генерал Алексей Максимович Каледин объявил Донскую область самостоятельной, себя хозяином и начал готовиться к войне с советской властью. Так Кубанская и Донская области стали убежищем контрреволюции.

Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев прибыл на на Дон к атаману Донского казачества генералу А. М. Каледину. 15 ноября 1917 года он отдал приказ о формировании Добровольческой армии.

Так здесь зародилось и начало формироваться, главным образом из бежавшего сюда на юг офицерства, контрреволюционное белогвардейское добровольческое движение, и отсюда началась беспощадно жестокая Гражданская война не только на Украине, а по всей стране.

Атаман Всевеликого Войска Донского генерал Каледин в конце декабря 1917 г. во исполнение своей идеи борьбы с советской властью, захватив Ростов-на-Дону, двинулся на Донецкий бассейн. Ему помогала Украинская Центральная Рада – оружием, боеприпасами, деньгами и вооруженной силой, пропуская к нему казаков и юнкеров со всех сторон[5].

Красногвардейские отряды на Украине

Декрет об организации Красной армии на Украине был издан только 20 января 1918 г.

Но на защиту Донецкого бассейна и ликвидацию мятежа Каледина были быстро мобилизованы красногвардейские рабочие отряды Донбасса, красногвардейские и *партизанские отряды Мариуполя,* активным организатором и участником которых был в то время *наш отец.*

Он также был *одним из главных участников* в создании 5 января 1918 г. Центрального штаба Красной гвардии Донбасса во главе с Д. И. Пономаревым. В эти отряды отовсюду шли рабочие, крестьяне, раздетые, разутые, плохо вооруженные, но полные решимости и непобедимого энтузиазма встать несокрушимой стеной на защиту своего родного Донбасса.

В помощь рабочим Донбасса и красногвардейским местным отрядам для ликвидации мятежа А. М. Каледина прибыли также красногвардейские отряды по борьбе с контрреволюцией на Юге под командой В. А. Антонова-Овсеенко.

[5] Подробности см. Исторические комментарии. Белая армия. Борьба на Украине. С. 759.

Три всадника

Как я говорила, мой отец, Иван Саутенко, стал одним из первых организаторов красногвардейских и партизанских отрядов на Мариупольщине.

Наступила глубокая зима. Мы с братом сидели у окна и смотрели, как лениво шел снег. Вся огромная площадь перед домом была покрыта ярко сверкающим пушистым снегом. Вдали появились три всадника, приблизившиеся к нашему дому, я быстро сорвалась с места, помчалась в холодные сени и очутилась в крепких объятьях отца. Отец пришел только попрощаться с нами, он уходил на фронт.

И когда эти всадники удалялись, я видела, как лошадь папы обернулась несколько раз, как будто не слушаясь его. Ему, по-видимому, хотелось еще раз взглянуть на наши прильнувшие к окну заплаканные рожицы. Отец в это время находился уже целиком и полностью в центре революционной деятельности на Украине.

Австро-Венгерская оккупация

После Октябрьской революции Украинская Центральная Рада отказалась признать Советскую власть. Несмотря на подписание 2 декабря 1917 г. Брест-Литовского соглашения о перемирии, Германия и Австро-Венгрия заключили с Украинской Центральной Радой отдельный договор, 18 февраля 1918 г. оккупировали Украину[6].

Отец в подполье

Большевистская партия в Мариуполе ушла в подполье, и мы все реже и реже стали видеть не только отца, но и всех его друзей, наполнявших раньше веселой гурьбой дом, в котором мы жили. Теперь в городе был создан подпольный большевистский комитет во главе с Г. Македоном.

В нашем доме стало тихо и пусто, исчез печатный станок, и грустно затих попугай.

Македоновка

Вскоре после оккупации Мариуполя австро-венгерскими войсками за нами приехал наш дедушка и увез нас к себе в маленькую, уютную, около 100 дворов, утопающую летом в зелени садов и занесенную глубокими пушистыми сугробами снега зимой, деревеньку с очаровательным названием Македоновка, расположенную в 12 км от Мариуполя.

Дом дедушки, который мы всегда называли «наш дом», с прекрасным вишнево-яблочным садом и замечательным огородом, с яркими узорчатыми грядками, стоял на самом видном месте в центре села, красиво выкрашенный в бело-голубой цвет и под красной черепичной крышей. Он был как «винт», ввинченный в центре этого уютного маленького поселка, и, казалось, если вынуть его, то все дома с садами и огородами, такие же чистенькие и уютные, разлетятся на все четыре стороны.

Оказывается, как мне вскользь объяснили, да и я очень мало этим интересовалась, моя бабушка была самая младшая из трех сестер, оказавшихся близкими родственниками *того знаменитого митрополита,* который получил от Екатерины II право на переселение греков из Турции в эти пустующие таврические степи.

---

[6] Подробности см. Исторические комментарии. Австро-Венгерская оккупация. С. 761.

Миллионерами никто из его родственников не стал, но огромное село Сартана начало строиться в том месте, где *один из его родственников* заложил первый камень, поэтому дом бабушкиной сестры стоял так же в самом центре теперь уже огромного села Сартана рядом с Мариуполем.

Наш дедушка так же, как только женился, сразу ушел из большого села Сартана, расположенного на берегу реки Кальмиус, и первый построил свою усадьбу в этой степной пустыне, расположенной приблизительно в полутора км, между ж-д. полустанком Асланово и чистой, как слеза, студеной речкой Кальчик.

Посреди расстилавшейся перед нашим домом огромной, открытой квадратной площади стояла, утопая в зелени акаций и сирени за ажурной железной оградой, большая красивая белокаменная церковь с 4-классной школой.

Построить и содержать такую церковь и школу для такого маленького прихода являлось показателем того, что народ здесь жил *вполне зажиточный* и *достаточно грамотный* по тем временам, и в этом была огромная заслуга *нашего дедушки.*

Здесь не было *абсолютно никакой* администрации. Был один маленький магазинчик, в котором можно было купить все, от иголок до керосина. Яркая золотая луковка утопавшей в зелени церкви видна была далеко, как маяк. Две ветряные мельницы стояли в конце этой огромной площади. За ними расстилались безбрежные степи, луга и пастбища до самой речки Кальчик, бегущей по камням, с кристально чистой, как слеза, водой, куда гоняли скотину на водопой и где мы ловили раков ведрами и здесь же варили их в чистой, прохладной родниковой воде.

Дедушка

Дедушка наш был здесь интереснейшей, центральной фигурой, вроде такого же винта, как и его дом. Вечный почетный староста, судья, кум, сапожник, плотник. По существу, не было такой профессии, за которую он не брался бы с азартом. И все это делалось из любви к искусству, а не в целях наживы. Без работы он сидеть не мог, всегда был занят в своей мастерской, всем помогал. Все говорили, что даже мясо не такое вкусное, если не он забьет скотину. Но денег дедушка ни у кого и никогда не брал.

На жизнь он смотрел легко и радостно – на это у него была своя философия.

Дедушка был в этом месте всеобщим консультантом, ни один житейский вопрос во всем этом поселке без него никто решить не мог. Женить сына, выдать дочь замуж, крестить, купить, продать – за советом все шли к нему, к Ивану Семеновичу.

Бабушка была маленькая, ласковая, самый добрый человек, какого я когда-либо встречала. Она не могла выпустить человека из дома, не накормив и не напоив его чаем. И даже в самые тяжелые голодные годы она могла поделиться последним куском хлеба.

Она любила ткать, в комнате у нее стоял ткацкий станочек, на котором она ткала потрясающей красоты высокохудожественные покрывала и длинные узорчатые полотнища, которыми были обвешаны все комнаты.

Мамина единственная, хорошенькая сестренка была в невестах и готовилась к свадьбе. Вот в этом замечательном, родном, спокойном и казавшимся таким безопасным доме потекла наша беспокойная жизнь.

Беспокойная жизнь

Отец изредка появлялся, обычно ночью. И я до сих пор помню запах мороза, дождя или свежести, который он вносил с собой, крепко целуя нас, спящих в постели. Появлялся он не один, а с товарищами, и они, приглушив свет лампы и прикрыв плотно ставни, склонялись над развернутыми картами на столе, на полу и, углубившись в свою работу, не замечали, как пролетала ночь. И так же неожиданно, как появлялись, исчезали. А я в это время часами лежала с открытыми от восторга глазами и с детской гордостью смотрела на них. Мне казалось, они делают что-то большое, интересное, не похожее на то, что делают все люди вокруг меня.

Но чем сильнее становились партизанская борьба и героическое сопротивление, оказываемое плохо вооруженными партизанскими и красногвардейскими отрядами, тем жестче и страшнее становились репрессии карательных отрядов.

Ходили упорные слухи, что карательные отряды ищут, хватают, пытают и вешают большевиков-коммунистов и партизан, что в городе уже несколько дней висят партизаны и большевики.

Обыски и аресты в нашем доме тоже стали обычным явлением, во время них наш дом переворачивали вверх дном. Искали оружие, литературу, отца большевика-коммуниста, после чего уводили в город в тюрьму либо мать, либо дедушку или обоих сразу. И я думаю, если бы не огромная популярность дедушки, их давно в живых бы не было.

Отец был на фронте, а матери, активно помогавшей ему, приходилось прятаться во время этих нашествий.

Большевицкие щенки

Нас научили называть дедушку и бабушку папой и мамой, чтобы не возбуждать опасных вопросов: «Где родители?»

Но не всегда это помогало, обыски и аресты дедушки и матери стали в нашем доме обычным явлением, и часто бывало, не успевали они вернуться из тюрьмы домой, как их снова арестовывали и уводили в тюрьму в Мариуполе.

Во время обысков требовали указать, где отец прячет оружие, которое переправлялось партизанам, и сказать, кто поддерживает его и помогает ему. Нам, детям, пришлось увидеть и перенести много.

Моего четырехлетнего брата, задабривая слащавыми улыбками и конфетами, заставляли сказать то, о чем мать под угрозой расстрела молчала, я помню:

– Дам конфетку, скажи, где папа прячет оружие?

И поставив нас перед матерью, произносили:

– Расстреляем, расстреляем, если не скажете, где спрятано оружие, где муж и кто с ним?

А мать… А мать бесстрашно и твердо отвечала:

– Можете расстрелять, но оружия здесь нет, а где муж и кто с ним, я не знаю.

Взбешенный офицер кричал:

– Арестовать!

И это слово в его истеричном крике звучало почти так же, как «Расстрелять!». И снова, и снова они уводили мать и ее отца, а мы, волнуясь за их жизнь и за жизнь отца, ждали и ждали.

Я тогда уже не плакала, я понимала, что если мать не плачет, то этого не нужно делать и нам. Я была старшей и, крепко стиснув руку брата, старалась удержать его от порыва броситься к матери и заплакать.

Я помню, как однажды младший брат побежал за матерью с криком:

– Мама!!! Мама, вернись! Отпустите мою маму!!!

Рассвирепевший офицер обернулся и сильным ударом швырнул его на пыльную дорогу, а матери даже не позволили оглянуться.

– Оставь, не сдохнет, большевицские щенки живучи!

Мать увели, а я долго сидела, утирая струйки крови бежавшие по лицу моего брата. Окровавленное лицо брата, его широко открытые от ужаса и непонимания происходящего глаза я помню до сих пор.

Я также помню, как ночью он стонал и запекшимися губами спрашивал:

– Нина, скажи, за что они хотят нашу маму расстрелять?

Эти испытания родили в наших сердцах чувство *глубокой любви* и *безграничной преданности* и *уважения* к нашим родителям.

А отношение в дальнейшем к отцу его соратников и друзей, говоривших о нем с восторгом, как о *честном, справедливом* человеке, коммунисте и отважном бесстрашном воине, кроме любви, рождало также *чувство гордости* за отца.

В те годы мы были не просто дети, мы были *дети коммунистов-большевиков.* «А, *это дети большевиков»* или « *Твой отец большевик»* – я слышала часто. Одни произносили это с любовью и симпатией, другие с ненавистью и желчью.

Даже не зная, что такое *большевик,* я думала, что если мой отец и его друзья — *большевики,* значит это что-то *светлое, хорошее, справедливое, честное,* и я сквозь слезы клялась себе, что как только я вырасту, то я буду тоже как отец. И поэтому, когда я позже одна из первых вступила в пионеры, а затем в комсомол – это были *светлые, счастливые дни моей жизни.*

И мой ответ на призыв «Будь готов!» – «Всегда готов!» защищать дело трудящихся во всем мире, не было для меня пустым звуком[7].

Пойду искать Ваню…

Наш Мариуполь был снова освобожден 29 марта 1919 г. 1-й Заднепровской советской дивизией под командой П. Е. Дыбенко с огромной помощью красногвардейских и партизанских отрядов.

Как только освободили Мариуполь, мы ненадолго вернулись в город и остановились в гостинице «Континенталь». Отец в это время был занят формированием батальона, который стал полком регулярной Красной армии, сыгравшей огромную роль в боях против Деникина и Врангеля.

Но скоро мы снова вернулись в нашу уютную Македоновку, т. к. Мариуполь еще много, много раз переходил из рук в руки. Кто только не проходил через наш Мариуполь и через нашу Македоновку!

Все сильнее и сильнее разворачивались бои в нашем Мариупольском уезде. Одна власть сменяла другую, иногда даже по несколько раз в день, и стрельба не прекращалась. И какая бы власть ни приходила, она хватала, арестовывала, вешала, расстреливала своих противников. Одни ругали и проклинали большевиков-коммунистов, другие немцев, белых, зеленых, махновцев, дроздовцев и прочих, и прочих.

Мать, вернувшись однажды после очередного ареста, заявила:

[7] Подробности см. Исторические комментарии. В огненном кольце. С. 762.

– Больше нет сил… Все равно замучают. Берегите детей, а я пойду искать Ваню.

«Искать Ваню» – легко сказать! Это было в то время все равно что искать иголку в стоге сена. Мы от отца никаких достоверных известий не только не получали, но даже кто-то, заехавший к нам случайно, сообщил, что наш отец во время последних ожесточенных боев *погиб*. Но мать все равно ушла искать отца, нашла и осталась в том же отряде до конца войны.

Трудно было понять и разобрать, от кого надо было прятаться. Нас, детей, во время усиленной стрельбы прятали в глубоком погребе, откуда мне казалось, что наверху бушует буря и непрерывно грохочет гром. А под вечер, когда все стихало, через Македоновку по широкой дороге, обсаженной пышными кустами душистой сирени и благоухающими акациями, шли подводы с тяжело ранеными. Были это красные или белые, мы понятия не имели, они стонали и просили пить, Мы бежали и тащили им воду в кувшинах. На их изодранных грязных одеждах и на белых марлевых повязках виднелись ярко-красные пятна и сгустки темной, липкой запекшейся крови, от которых шел тяжелый запах.

Подводы с изуродованными ранеными уходили, и снова наступала кратковременная тишина.

А ночью мы просыпались от шума. В дом вваливались какие-то военные: чеченцы, казаки, деникинцы, дроздовцы, белые, красные, и все они требовали, чтобы их накормили, напоили. И бабушка среди ночи покорно разжигала печь или плиту и готовила им еду из кур, гусей и из всякой живности, которую они ловили здесь же, во дворе.

В доме становилось так тесно, что с трудом можно было протиснуться. Они спали на полу, на креслах, на диване, и даже после таких кратковременных постояльцев в доме становилось пусто, исчезало все съестное и уничтожалось все живое, что попадало им под руки или на глаза.

Девочка в поле

Наступили прекрасные апрельские дни, когда после холодной, необычайно холодной суровой зимы весна казалась особенно прекрасной. Но в эти же прекрасные апрельские дни веселые песни и трели всевозможных птиц заглушались непрерывной стрельбой и громкими разрывами снарядов. Со станции Волноваха через наш полустанок Асланово, приблизительно километрах в полутора от нашей Македоновки, взад и вперед двигался бронепоезд.

Снаряды разрывались и не разрывались, долетали и не долетали до нашей Македоновки, и долго потом крестьяне, когда пахали, подбирали осколки снарядов, гильзы пуль, пули, а иногда подрывались на неразорвавшихся снарядах. Вспоминаю, как в ясный солнечный полдень послали меня отнести лекарство больному дяде.

По дороге к ним меня окликнула знакомая девочка, моего приблизительно возраста, она упорно старалась что-то сдвинуть с крыши какого-то курятника.

– Помоги мне снять эту штуку, – попросила она.

Я остановилась в раздумье – помочь, или раньше освободиться от своей ноши.

– Слезай и подожди меня, я быстро вернусь и помогу тебе, – пообещала я.

И помчалась, но не успела даже войти в дом, как за моей спиной раздался оглушительный взрыв. И долгие годы я с ужасом вспоминала и не могла забыть, как в глубокой яме, среди хаоса развалин, вместо Лизы лежало окровавленное месиво, из которого торчали куски голубого платья, и далеко от дома на кустах висели розовые куски ее мозга.

Там вдали за рекой…

Помню из рассказов отца, с какой силой сопротивлялись красногвардейские, партизанские и красноармейские части на узловой ж.-д. станции Дебальцево. Здесь произошло одно из самых тяжелых, кровавых столкновений с Добровольческой армией. Добровольческой армии, снаряженной, вооруженной до зубов иностранными интервентами, организовавшей «крестовый поход» против советской страны, удалось здесь прорваться и двинуться на Москву.

Второе крупное сражение, по рассказам отца, сыгравшее огромную роль в задержке продвижения Добровольческой армии на Курск, произошло под Купянском. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, задержавшей наступление Белой армии на Курск, им все-таки удалось прорваться еще раз и в начале сентября 1919 г. занять так называемую «красную крепость» – Курск. А 1 октября 1919 г. корниловцами и марковцами был занят Орел. Они стали приближаться уже к Туле, а Май-Маевскому был дан приказ наступать прямо на Москву.

24 октября 1919 г. была разбита деникинская конница Мамонтова. А в ноябре 1919 г. была создана Первая Конная армия Буденного.

А не достанешь, не достанешь!!!

В это время голод охватил уже всю страну. Голодали не только промышленные районы страны, голодала даже доведенная до крайнего истощения, вся обескровленная, ограбленная, богатая хлебом Украина. Цены на продовольствие росли с головокружительной быстротой.

Вместе с голодом нагрянули вечные и неизбежные спутники разрухи и нищеты повальные инфекционно-эпидемические болезни: сыпной и возвратный тиф, скарлатина, дифтерит, холера, черная оспа – эти остроинфекционные болезни нечем было лечить. Ни докторов, ни лекарств, лечились все своими домашними средствами. Эти болезни косили людей беспощадно, их не успевали хоронить.

Пустели дома. В доме напротив нас за одну ночь скончалась вся семья из шести человек, и я из окна видела, как вынесли четыре больших и два маленьких гроба. Бабушка и те соседки, кто держался еще на ногах, ходили обмывать и одевать покойников. Когда бабушка возвращалась, от нее пахло воском и ладаном, которым окуривали покойников.

Заболела черной оспой моя подруга, девочка моих лет, меня к ней не пускали, но через окно я видела, как болезнь превратила ее в страшную куклу, покрытую язвами. Она металась и стонала в постели. У нее были завязаны руки, мне сказали, для того, чтобы она не раздирала нарывы, после которых оставались безобразные, глубокие шрамы на лице и на всем теле на всю жизнь.

Наташа умерла. А я, прижавшись к окну, смотрела на небольшой гробик, в котором лежала Наташа, с чужим, обезображенным болезнью личиком. Возле гроба, как каменная, не шелохнувшись, стояла ее мать. Наташа не была похожа на себя, и мне казалось, что это обман, что это чужая незнакомая девочка, а моя Наташа, с которой я так недавно играла, беззаботно и весело носилась по саду, сейчас подбежит ко мне со звонким смехом.

Гробик унесли, и над ним вырос холмик из свежей промерзшей земли.

«Что такое смерть? Почему она входит в дом, безжалостно, жестоко уносит навсегда без разбору кого ей захочется, и ни слезы, ни отчаяние, ни мольбы не помогают?», – думала я.

И долго меня мучил образ Наташи. Я закрывала глаза и видела Наташу, которая, вскочив на кровать и хлопая в ладоши, кричала:

– А не достанешь, не достанешь!

А из-под кровати вдруг выползала *смерть!* Безносый, страшный скелет, и со страшной улыбкой протягивал к ней руки и смеющаяся, румяная Наташа превращалась в черную, обезображенную куклу.

Мне становилось *страшно.* Мне казалось, что она и ко мне протягивает свои костлявые руки и шепчет:

– Вот и к тебе доберусь, доберусь.

И я с ужасом бежала к взрослым, стараясь найти у них защиту. С тех пор я стала бояться темноты, одиночества, темных углов и завывания ветра, мне казалось, что всюду притаилась и в любую минуту может выскочить эта холодная, костлявая старуха-смерть.

Мой саван

К мысли о смерти все уже привыкли и смотрели на нее, как на что-то неизбежное. Плакать? Но и на это нужны были силы, а их ни у кого не было. Они только говорили:

– Ну, вот и Николаевна *отмучилась*... Слава Богу – умерла.

Этим они выражали свое соболезнование не то ей, не то себе, что им еще предстоит мучиться.

Заболела тифом и я, да так тяжело, что какая-то сердобольная соседка пошила мне белую длинную рубашку – саван, в которую собирались нарядить меня в гробу и которую я потом долго носила, как ночную рубашку.

Во время болезни у меня образовался на спине под правой лопаткой огромный, с куриное яйцо, нарыв. И когда все считали, что мой конец уже близок, меня обмыли, уложили на чистые простыни, а нарыв вдруг прорвался, и я очнулась. Я до сих пор помню эту минуту, как будто горячая липкая струя обожгла мне спину, и я почувствовала такую необыкновенную легкость во всем теле, что, мне казалось, я могу взлететь.

После кошмара болезни я особенно остро запомнила *чувство голода.* Я очень хотела есть, а есть было нечего.

Голод

Отец и мать были на фронте. Отец всю гражданскую войну сражался в рядах Красной армии против Каледина, Деникина, Петлюры, против Врангеля, а в конце гражданской войны был назначен командиром специального кавалерийского отряда по борьбе с бандитизмом на Украине в Гуляйпольщине – знаменитой родине батьки Махно.

Мы продолжали жить у дедушки.

Как сейчас помню весну этого года. Помню, как из-за горизонта рано утром зловеще поднималось кроваво-красное горячее солнце. Пожилые люди, с ужасом глядя на восток, говорили:

– Будет засуха, неурожай, голод.

Прошло знойное душное лето с отвратительными сухими ветрами, дувшими, как из раскаленной печи, из Каракумской пустыни. Ни тучки на небе, ни росинки на траве. Посевы, зазеленевшие весной за счет накопившейся за зиму влаги, не сумев подняться от земли, пожелтели, свернулись и застыли в своем желтовато-сером спокойствии.

Даже косилки в то лето не выезжали в поле. Косить было нечего. Мычала голодная скотина, возвращаясь с пастбищ.

Надвигалась ужасная осень и жестокая, голодная, холодная зима.

– Новая власть… Голод в России, нехорошее предзнаменование, – сетовали старики.

Все закрома были пустые, скотина уничтожена. Бесконечная война обескровила, ограбила страну. Отсутствие рабочих рук, инвентаря, лошадей, мобилизованных и угнанных, как и люди, на фронт, усугубили жестокий удар природы. Пахали на коровах и волах, коровы перестали доиться, волы без корма издыхали.

Начался повальный голод по всей советской республике. Особенно пострадали разоренная Украина и Поволжье.

Кто-то говорил, что за Доном, в Ейске, на Кубани относительное благополучие. Туда и хлынул народ в надежде привезти хоть пудик муки, и наш дедушка решился поехать. Продали все, что случайно сохранилось от бесконечных обысков и грабежей. Уехал.

Как сейчас помню, вернулся больной, измученный. Положил буханку черствого, черного хлеба на стол, не сел, а упал на стул и сказал:

– Вот и все. Скажите спасибо, что живым домой вернулся.

По дороге всех задержали, продукты у всех реквизировали. Мы с ужасом смотрели на эту картину. Чувство голода нам было знакомо давно. В начале нам бабушка пекла по одной пресной лепешке, потом с отрубями, потом отруби пополам с травой. Запах свежеиспеченного хлеба преследовал нас. Мы не просили ни сладостей, ни конфет, нам только хотелось съесть кусочек хлеба.

Сколько надежд возлагали мы на дедушкино возвращение! Помню, как мы с голодной мольбой смотрели на бабушку и как она, разделив свой последний кусочек, успокаивала нас.

– Потерпите детки, вот дедушка скоро вернется, тогда я вам хлебушка испеку.

Запах свежеиспеченного хлеба преследовал нас. Как она бедная, худенькая, почти вся высохшая, жила, даже трудно представить.

Белые мухи

Коммунистов в те годы было не так много, но о том, что наш отец коммунист-большевик, я слышала и знала с тех пор, как помнила себя. Одни произносили слово коммунист с гордостью и восторгом, другие с ненавистью и шипением.

И я помню, как однажды вечером у дедушкиного дома, где обычно собирались соседи, как на сходку, рассаживались на чем попало и жарко обсуждали происходящие события, кто-то сказал.

– А вот скоро прилетят наши белые мухи, и тогда мы этих коммунистов-большевиков будем стрелять и вешать.

И хотя я не могла понять и не понимала, что происходит вокруг, но где-то в глубине души мне казалось, что отец и его молодые веселые друзья боролись за что-то очень хорошее, справедливое, и правда на их стороне. Я ушла с глубокой обидой и долго плакала в ту ночь. «За *что? За что надо убивать, стрелять и вешать большевиков-коммунистов, если они все борются за что-то очень хорошее для всех людей?»*

Мы в это время были одни, с нами не было ни отца, ни матери, и увидим ли мы их когда-нибудь или никогда, мы тоже не знали.

Мама приехала!

Поэтому огромной неописуемой радостью было для нас внезапное появление матери в одно холодное зимнее утро. Она вошла в дом, шатаясь от усталости, с разбитой окровавленной ногой.

Мама рассказала, что ехала она к нам на поезде, на открытой раме, согнувшись в три погибели, под какой-то цистерной. В таком положении в декабрьский мороз надо было не

только удержаться самой, но еще удержать в онемевших от холода руках драгоценный груз – муку, а ведь мука была все! Дороже всех благ на земле, ради муки люди шли на смерть и на муки. Окоченевшие от холода руки и ноги не удержали ее, и она свалилась на ходу с поезда в глубокий ров, чудом осталась живой и только сильно поранила себе ногу. Как она дошла? Из разорванного башмака шла кровь. Мама вошла в дом хромая, оставляя за собой кровавый след. Мы не сразу узнали ее, так сильно изменилась она, и я часто, украдкой смотрела на нее, мне казалось, как будто кто-то подменил ее.

Чувствуя мой взгляд, она оборачивалась, и я встречала теплую, родную улыбку ее красивых темных глаз. Те же чудные волнистые волосы, красиво причесанные, как будто она только что вышла из парикмахерской, тот же тонкий с горбинкой нос, все было знакомо. Но, что-то изменилось: что-то очень грустное, скорбное появилось в ее лице.

Я обнимала, прижималась к ней так крепко, как будто боялась потерять ее снова, и запах, до боли знакомый с детства запах матери наполнял меня чувством трепещущей радости.

Мне казалось, что это сон, что я проснусь, и этот сон исчезнет, и снова потянутся грустные дни одиночества, голода, болезней и смертей.

Мы едем к папе

Мать действительно собиралась уезжать, но не одна, вместе с нами. Она сообщила нам, что отец жив, был жив, когда она оставила его. Он находится на одном месте, он командир особого кавалерийского отряда по борьбе с бандитизмом и остатками махновских банд в знаменитом Гуляйпольском уезде.

Увидев, в каком тяжелом положении мы находимся, она решила забрать нас с собой. И хотя отец был еще в армии и в боях, оставить нас она боялась. В доме у нас было пусто, как говорят, хоть шаром покати.

Во время остановок всевозможных военных отрядов было съедено все съестное и все живое, а во время обысков уносили все остальное. И даже я удивлялась – ищут оружие, а тащат даже коробочки с запонками и различными безделушками (для меня все ювелирные изделия были безделушки), и как-то бабушка с грустью сказала:

– Ничего, ну абсолютно ничего не осталось, что можно было бы обменять хоть на кусок хлеба.

Впереди всех ожидала длинная холодная, голодная зима.

Начались сборы, они были незатейливые. На дворе стояли жестокие морозы, а наша одежда далеко не была приспособлена к путешествию в такую зимнюю стужу. У нас не было ни теплого белья, ни платья, ни обуви. Но мать спешила с отъездом, так как в тех условиях, в которых находился отец, все могло случиться. Мы могли не найти отца в этом месте, а может быть даже в живых.

Взять детей к себе при таких условиях жизни было почти *безумие,* но голод сделал свое. Мама, благодаря своей изобретательности, сумела старые поношенные вещи, даже одеяло, превратить в нашу одежду. Но самое главное и страшное было – чем кормить нас в дороге. Ту муку, которую она привезла перед отъездом, обменяв ее на обручальное кольцо и золотые серьги, надо было оставить родным. Мука в то время была не просто питанием, а служила *обманом сознания,* что вот есть еще горстка муки, и люди чувствовали моральное спокойствие, что при ее помощи можно склеить любой неудобоваримый продукт.

Наступили сильные морозы. Мама еще не поправилась, но, скрывая свою боль, она стремилась в дорогу.

Далекое путешествие

Наконец мы на вокзале. Наступила темная, холодная ночь. На дворе завывала вьюга, ветер свободно гулял по вокзалу, наметая сугробы снега через разбитые стекла.

Снег не таял. Вокзал не топили. Утомленные голодом и холодом, мы даже уснули на голой деревянной лавке. Здесь мы провели не одну ночь, а несколько жутких, холодных ночей в ожидании возможности сесть на поезд. Поезда ходили редко, а если подходили, то были до отказа набиты людьми, как внутри, так и снаружи. Голод и холод сорвал всех с насиженных мест и гнал всех в далекую неизвестность в поисках куска хлеба.

Одни говорили, что на Кубани хорошо, люди ехали на Кубань. Другие говорили, что на Украине хорошо, люди ехали на Украину. Люди менялись местами, но положение не менялось. Это был тяжелый, страшный, повальный голод и катастрофическая, даже еще не послевоенная разруха, т. к. во многих местах еще шли жестокие бои.

Наконец среди ночи пришел долгожданный, битком набитый внутри и обвешанный людскими гирляндами снаружи, поезд. Пассажиры бросились к нему, но к поезду даже близко подойти было невозможно. Толпа просто тащила вас вперед-назад вдоль поезда.

Не только внутри не было *ни одного* свободного места, но и снаружи не было ни одного свободного крючка, на котором можно было бы повиснуть.

Чудо

Вырвавшись из толпы, мы очутились возле паровоза. Здесь было пусто. Поезд был готов вот-вот уже тронуться каждую минуту. Мама была в отчаянии. Она знала, что если мы останемся, то нам снова надо будет бог весть сколько ожидать, и картина все равно будет одна и та же.

И вдруг произошло чудо. Машинист подбежал к нам, схватил Шурика на руки и посадил на свое место, справа у открытого окна паровоза, а меня и маму на открытую платформу с углем, который он огромной лопатой бросал в топку паровоза. Вот на этой открытой платформе с углем в нестерпимую декабрьскую стужу я сумела даже вздремнуть, прижавшись к матери. Проснулась я от того, что я вместе с углем сползла в образовавшуюся воронку на огромную лопату.

Здесь я увидела огромное огнедышащее жерло топки паровоза и Шурика, сидящего у окна, красного от огнедышащей топки с одной стороны, продуваемого насквозь ледяной струей ветра с другой. Я же мало сказать замерзла, я просто окоченела. Я дрожала так, что слышно было, как щелкают мои зубы. Но этот машинист мне казался добрее всех ангелов на свете.

Так под утро мы очутились на станции Юзовка. Здесь нам предстояло пересесть на другой поезд и дальше еще на третий. Какое магическое слово сказала мама машинисту, я не знаю, но рано утром, прощаясь с нами, наш спаситель очень жалел, что дальше ничем не может помочь нам, и попросил:

– Передайте Ивану (это папе), что он мне как брат родной. Сколько раз мы от смерти друг друга спасали. Передайте ему, что нашего друга Николая Папаса деникинцы повесили и у *живого* на груди *красную звезду* вырезали. Привет от Григория, живы будем, свидимся.

Так хорошо я запомнила это потому, что меня потрясли слова «у *живого на груди звезду вырезали»,* я никак не могла забыть этих слов.

Пешком по сугробам

Было очень рано, холодно. Хотелось зайти в вокзал согреться. Но когда мы подошли к вокзалу и попробовали открыть дверь, она не поддавалась нашим усилиям. Подошел военный и, отстранив нас, открыл с силой дверь и зашагал внутрь по ногам, по рукам, по головам. На полу до самой двери лежали вповалку здоровые, тифозные больные, раненые, покрытые все вшами, как просом. Одни стонали, другие бредили. Пройти внутрь было физически невозможно. Из открытой двери валили клубы пара и шел нестерпимый смрад. Впереди не было никакого просвета. Шурик с испугом прижался к матери:

– Мама, я не пойду туда… – сказал он и мы пошли в сторону ж-д. путей.

Подошел поезд, идущий в нашем направлении. Все бросились к нему, совали огромные пачки денег, чтобы только попасть в него. Когда мы протиснулись сквозь толпу, с нас запросили такую сумму денег, что мать даже ахнула. Поезд ушел, и на перроне остались стоять мы и несколько таких же бедолаг. Кто-то сказал, что до следующей станции всего-то километров шесть.

– Мама пойдем пешком, – сказал мой мудрый пятилетний брат. – Ты нам лучше хлеба на эти деньги купи.

И мы пошли. Выхода у нас не было. Дорога оказалась длинная, не 6, даже не 10, а все 12 или даже больше километров. Шли мы долго, прямо по глубоко заснеженному полю, мы, дети, стойко выдержали это испытание.

Военный эшелон

На вокзале, после нескольких неудачных попыток сесть в проезжавшие поезда, мать подошла к стоявшему на запасных путях военному эшелону, и здесь нам снова повезло. Когда мать сказала зачем, куда и в какой в отряд ей нужно скорее вернуться, мы сразу очутились в теплушке, среди военных. В этом вагоне оказался военный, который заявил, что он был в одном отряде с папой.

– Как же не знать, мы же вместе Курск освобождали, – сказал он.

Посреди вагона ярко горела «буржуйка» и кипела в котелке пшенная каша.

Когда каша была готова и все начали есть, Шурик, уткнувшись матери в колени, тихонько и горько заплакал.

– О чем это он? – спросил кто-то из военных.

– От голода, – ответила мать.

И все военные сразу разделили с нами свою скудную трапезу. Как долго мы ехали в этом вагоне, я не помню. Я только помню мучительно длинные остановки и мучительно нестерпимый голод, и если бы с нами не делили свой скудный паек военные, не знаю, как сумели бы мы выдержать.

В вагоне их было человек 12, веселых, молодых. Бывший соратник нашего папы рассказывал всем про свои походы где-то под Курском в одном отряде с нашим папой.

– Входим мы, значит, с нашим командиром (с нашим папой) в дом – темень, хоть глаз выколи. Начали приглядываться, ноги с печи торчат, а кругом чернота и сажа, как паутина, только тараканы шуршат. А знаете, хлопцы, что это такое? Да там же по-черному топят, дым, значит, не в трубу пускают, а прямо в хату, и он процеживается сквозь соломенную крышу, и вся хата, как труба, в саже.

Ребята не верят, хохочут.

– А в другой раз зашли мы в дом, – так себе чистенький, принесла нам хозяйка молока попить. Быстро вынула из кувшина лягушку на веревочке за ножку и сказала: – Я вам с «холодушечкой» налью. Мы все пулей выскочили из хаты.

Наш молодой спаситель был очень веселый, разговорчивый парень откуда-то из-под Полтавы. Он всю дорогу неугомонно рассказывал о своих военных похождениях и о том, как глубоко поразила его бедность в тех местах России, в которых ему пришлось побывать как военному и как освободителю.

Вот мы и дома…

На нашу станцию Просяную мы прибыли ночью. Нас встретил начальник станции и пригласил к себе. Жена его напоила нас горячим сладким чаем с ломтиком белого хлеба.

Начальник станции послал человека сообщить отцу, что мы приехали. Но его на месте не оказалось, он уже 3 дня был в походе, освобождая какие-то села от каких-то налетов.

За нами приехал молодой военный на санках. Он всю дорогу старался развеселить нас, рассказывая всевозможные, как ему казалось, забавные истории. О том, как они неожиданно налетали на села, в которых пьяные, разгулявшиеся бандюги грабили, насиловали, убивали, и как они полураздетые в панике драпали, теряя по дороге награбленное добро и оружие. И как они натолкнулись на колодезь, полный изувеченных трупов женщин и детей.

Наконец после долгих мытарств, до смерти уставшие, по хорошей санной дороге в ночь под Рождество мы добрались «домой».

– Вот мы и «*дома*» – сказала мама.

Это «дома» был огромный дом священника. Четыре комнаты с левой стороны от входа занимал священник с семьей. Все правое крыло этого дома с пристройками занимали военные, с левой стороны была канцелярия и какие-то еще помещения. Наша комната была посередине проходная, она соединяла часть дома, в которой жили и спали военные, и канцелярию, или помещение штаба. В нашей комнате справа от входа стоял диван, на котором спали мы с братом, рядом между двух окон стоял стол и 4 стула, а с противоположной, левой, стороны комнаты находилась кровать родных и в углу плита, на которой всегда кипел чайник для всех военных, которые заходили или проходили через эту комнату.

Несмотря на ранний час, нас очень приветливо встретила пышная красивая жена священника Пелагия Федоровна. Напоила нас чаем с сахарином и белыми булочками из пузатого ярко начищенного самовара, который стоял на столе под красивой хрустальной люстрой, блестевшей всеми цветами радуги.

За столом в черной рясе сидел высокий, худой молодой священник, и мне казалось, что его шелковистая борода и волнистые длинные волосы ловко приклеены. Мама очень оживленно с ним разговаривала, и я решила, что они знают друг друга уже давно.

Меня и брата Шурика познакомили с тремя детьми священника, чинно сидевшими за столом: Николенькой, Оленькой и Сашенькой. Они молча наблюдали за мной, и вдруг Николенька подскочил, как ужаленный: «Мама, да она уже третий кусок сахаина в чай кладет». И я не успела оглянуться, как мой чай выплеснули в полоскательницу.

– Вот хорошо, вот спасибо тебе Коленька, – заметила Пелагея Федоровна, глядя на сына и на меня ласково.

«Жадюля, – подумала я про себя, покраснев до ушей, – пожалел. Если с одним кусочком сладко, то с тремя было бы слаще».

Но вся моя обида исчезла, когда нас пригласили в другую комнату, в которой сверкала роскошно убранная елочка.

За домом был огромный, утопавший сейчас в сугробах снега, парк. Напротив дома, посреди огромной открытой площади, за красивой железной оградой, выкрашенной в зеленый цвет, стояла большая белокаменная церковь с позолоченными луковицами, над которыми с шумом носились стаи черных ворон, и несметное количество серых воробьиных комочков шевелили затоптанный в снегу навоз вокруг церковной ограды.

В дибровском лесу

Это большое село под названием Мало-Михайловка было расположено между Гуляйполем и Дибровским лесом, к которому боялись приближаться ночью и днем не только местные жители, но даже и воинские части.

В этом лесу после набегов и грабежей находили приют и убежище всевозможные разрозненные и организованные, как тогда их называли, банды и также остатки когда-то многочисленных махновских отрядов.

Здесь, в этом Дибровском лесу, у махновцев был устроен под землей великолепно закамуфлированный, хорошо оборудованный, неприступный бункер.

Напротив Дибровского леса находилось другое большое село – Большая Михайловка (или Дибривка), 900 дворов, которое почти все дотла было сожжено карательными отрядами австро-немецких оккупантов с помощью вернувшихся помещиков и немцев-колонистов, так как это село было известно своим крепким, партизанско-повстанческим движением, откуда вышло много идейных руководителей махновского движения.

Так очутились мы в знаменитом Гуляйпольском районе. Знаменитым его сделал анархист-коммунист – «батько Махно», который заявил что Гуляйполе это столица Анархо-повстанческой республики.

Армия Махно, ведя бескомпромиссную войну с австро-немецкими оккупантами на Украине, помогла уничтожить гетманщину и ликвидировать петлюровщину. Она боролась как с белым контрреволюционным движением на Украине, так и с Красной армией.

С последней она часто объединялась для совместной борьбы против Белого движения, но как только цель бывала достигнута, разногласия обострялись, и начиналась жестокая борьба между Красной армией и Махно. И несмотря на то, что Нестор Иванович Махно считал себя анархистом-коммунистом, все считали его большим разбойником. Он был смелый, бесстрашный, до наглости решительный и беспощадно жестокий.

Страх и ужас охватывали население, когда сотни пулеметных тачанок и многочисленная конница армии Махно, доходившая иногда до 50 тысяч разношерстных бойцов, внезапно с грохотом и свистом врывались в города и села. Они жгли, крушили, грабили, уничтожали помещичьи усадьбы, кулацкие хозяйства, вешали и расстреливали урядников, священников, офицеров и всех тех, кто с точки зрения Махно являлся символом народного рабства. А после пьяного разгула, опустошительных грабежей и насилия они покидали населенные пункты. Стреляя без разбора направо и налево и так же без разбора убивая, махновцы оставляли после себя горы трупов. А за ними следовали тачанки, нагруженные добычей: золотом, тюками всевозможной одежды, ящиками с коньяком, спиртом и водкой.

Махно также крушил, разрушал и взрывал тюрьмы, т. к. считал, что тюрьмы являются символом народного рабства и что буржуазия всех стран в течение тысячелетий укрощала бунты народа плахой и тюрьмой, а свободному народу они не нужны.

Вначале Махно крепко поддерживали украинские беднейшие крестьяне. Когда он собирался в поход, то в мгновение ока мог собрать многотысячную армию мужиков-партизан, он умел зажечь толпу своими речами. Кончался бой – и эти же мужики мирно стояли у своих хат, как ни в чем не бывало, в то время как немецкие и австрийские войска с ног сбивались в поисках махновцев.[8]

[8] Подробности см. Исторические комментарии. Батька Махно. С. 768.

Конец гражданской войны

Итак, 15 ноября 1920 г. закончилась абсолютно никому не нужная, бессмысленная, братоубийственная, безжалостная, жестокая, кровопролитная почти 4-летняя Гражданская война. Эта война кроме горя, страданий, разрухи и голода ничего не дала стране, за которую якобы воевала Добровольческая, а позже, так называемая, *Русская армия.* По существу, это была не армия освободителей, а *армия мстителей.* Она мстила за могучую *народную революцию,* которая разрушила, разбила, уничтожила старый строй в России.

Мстила народу за защиту Октябрьской революции, которую народ совершил в *глубокой надежде* создать *новый, справедливый,* свой рабоче-крестьянский строй в измученной, уставшей, веками эксплуатируемой России.

Мстила народу, который *хотел избавиться* от *своих поработителей* и от иностранной зависимости, народу, который шел на смертный бой *за землю, за волю, за лучшую долю* и за светлое будущее счастье на всей нашей планете, если не для себя, то для будущих поколений на земле.

Читая и перечитывая литературу, написанную самими участниками или историками, изучающими вопросы *причины неудач белых в гражданской войне,* приходишь к одному единственному заключению: что на фоне существовавшей в это смутное время неразберихи только у большевиков были выдвинуты те лозунги и выражены те цели и задачи, за которые народные массы готовы были идти на смерть. Рабочим обещали фабрики и заводы, крестьянам землю и всем, всем мир, свободу, полную независимость и *райскую жизнь* здесь, на земле, а не на небесах. А *что такое коммунизм, что такое социализм, никто никакого понятия в то время не имел*[9].

Впроголодь

Отца мы увидели только через несколько дней. Когда он вернулся из какого-то похода, мы оба, я и брат, лежали тяжело больные. У меня от голода и истощения появились глубокие язвы на теле, шрамы от которых остались на всю жизнь. Помню, как он, влетев в комнату, крепко прижал нас к своей пахнувшей снегом и лошадиным потом шинели, какое счастье было увидеть его! Он сказал, что почти всю неделю не слезал с лошади, так было трудно.

Голод в этом обильном богатом крае становился все более жестоким.

Голодали все. Армия питалась впроголодь. Их паек был мизерный, выдавали иногда кусочек синей солонины, немного сахара и хлеб, если то, что давали, вообще можно было назвать хлебом. Это была черная твердая масса, в которой было больше соломы, чем муки. Когда его ломали, то оттуда торчали т. н. по-украински «устюки», то есть мелко нарезанная солома или полова, кое-как склеенная мукой. Вкуса хлеба в ней не было и в помине. До сих пор помню, как этот хлеб царапал до крови горло, окрашивая слюну в красный цвет, как трудно было проглотить его. И даже этого хлеба, который так трудно и больно было глотать, не было в достатке.

Отец получал такой же паек, как и все красноармейцы. В отряде отца среди красноармейцев были два закадычных друга – Петька-пулеметчик и Федька-каптенармус, и я помню как каптенармус, веселый кудрявый Федька, намекнул однажды отцу:

– У вас дети больные, разрешите выписать немного продовольствия на ребят.

Отец категорически и твердо заявил:

[9] Подробности см. Исторические комментарии. Разгром генерала Врангеля. С. 764.

– В армии я, а не мои дети.

И веселый кудрявый Федька даже заикнуться об этом после не смел. О каких-либо поблажках для высшего состава отец и слышать не хотел.

На площади вокруг церкви каждое воскресенье собирались по старой памяти традиционные украинские базары. Крестьяне привозили кое-что из своих пожитков, цены были астрономические, деньги ничего не стоили. Миллионы равнялись копейкам. Торговля шла полным ходом. Спекуляция расцвела пышным цветом. Спекулянты наживали состояния, обменивая за кусок хлеба или за кружку муки бесценные вещи. За пуд муки покупали дом, здесь же рыскали местные власти, шла жестокая борьба со спекуляцией.

Голод не утихал, по утрам подъезжала подвода и на площади вокруг церкви подбирала замерзшие, окоченевшие от холода и голода трупы. Появились слухи о людоедстве. Где-то находили обглоданные человеческие кости. В купленном на рынке холодце кто-то нашел детский мизинец. Задержали мать, которая съела двух своих детей. Люди сходили с ума. Никогда не изгладится у меня из памяти вид этой женщины с воспаленными безумными глазами. Быть людоедом своих собственных детей! Говорили, что воруют детей и просили не отпускать детей одних далеко от дома.

Голод в это время был настолько жестоким, что даже при всех предпринятых Лениным чрезвычайных мерах погибло около 6 млн. человек.

Ленин, невзирая ни на что, обратился к капиталистическим странам за помощью, капиталистические страны соглашались оказать помощь голодающим только при условии, что советское правительство признает долги царской России и возвратит национализированные предприятия иностранным капиталистам.

Когда я болела, прибегал Николенька, всегда чистенький, причесанный, как мышонок.

– Скажи ты все сейдишся за сахаин? – картавя, спрашивал он. – Я тебе прейсфийку и огайок свечки пиенес, давай кавалейею сделаем.

Мы крепко подружились и все окна в комнате превращали в зверинцы, в армию, в героев из сказок при помощи воска, ножниц и бумаги. Девочки были чуть постарше нас и, когда мы собирались вместе, они читали и рассказывали нам какие-то интересные истории, особенно Оленька, иногда очень страшные.

Как-то прибежали все трое и потащили меня в дом через дорогу. Тетя Даша открыла нам дверь и провела нас в комнату, здесь я увидела то, что запомнилось на всю жизнь. Посреди комнаты на круглом столе стояли рядышком пять гробиков размером чуть-чуть больше коробочек из-под детских туфелек, и в каждой из них лежала мертвая куколка. Возле стола сидели две женщины – молодая мать этих пяти деток, которые, не успев родиться, здесь же скончались, и их бабушка. Мы зажгли, поставили свечки и потихоньку удалились. Такое событие! Родилось у женщины сразу пять младенцев. И никто в то время не обратил на это никакого внимания, а какое это было бы событие в других условиях!

Горькая весть

Всю ночь бушевала вьюга, так сильно, что дребезжали стекла. Утром через сильно замороженные окна трудно было разглядеть, что же делается на дворе. И вдруг открылась дверь, и из канцелярии, весь облепленный снегом, как дед мороз, в комнату вошел наш милый, родной дедушка. В этом похудевшем, уставшем, посиневшем от голода и холода человеке с трудом можно было узнать нашего красавца дедушку.

Мать бросилась к нему:

– Папа, как ты добрался? Как мама?

Тяжело опустившись на стул, он с трудом произнес:

– Я пришел, чтобы вы нас спасли от голода.

И, отдышавшись немного за стаканом горячего чая, сообщил нам страшную, жуткую весть, что от голода умерли мать и отец папы. Умер дедушка Федор, а несколько дней спустя скончалась бабушка Ирина. У людей не было сил похоронить их на кладбище, и их похоронили во дворе в погребе, где всегда летом хранили лед. Они жили тоже недалеко от Мариуполя, на расстоянии 18–20 километров, в селе Сартана.

Отец вздрогнул, закрыл лицо руками, и я видела, как дрожали его пальцы и плечи. Эта страшная весть потрясла нас всех, особенно отца. Он – их единственный сын, в котором они души не чаяли, боролся, отдавая все свои силы, рискуя каждую минуту своей жизнью, за счастье всех людей на свете, в то время как его родители умирали от голода, а он ничем, абсолютно ничем не мог помочь им.

Я уже знала, что такое голод, и понимала, какая это мучительная, жестокая смерть. Я уже много видела смертей за свою короткую жизнь, но так близко она еще не коснулась меня. Я вспоминала их милые, дорогие мне лица. Перед моими глазами стояла моя стройная, гордая бабушка. Она была такая красивая и ласковая, что на нее все заглядывались. Бабушка была особенная. Дедушка был, просто дедушка – голубчик, милый, ласковый, любил удить рыбу, гулять с нами и ходить со мной в длинные-предлинные прогулки. И вот их нет, нет, нет теперь, они умерли такой ужасной, мучительной смертью. Это казалось мне немыслимо и, уткнувшись в подушку и натянув на себя одеяло, я проплакала весь день. И даже этот жуткий горько-соленый кусок хлеба я не могла проглотить.

Да что тогда, мне всю мою жизнь, до сих пор, без горечи и боли тяжело вспоминать об этом, и так же, как тогда, когда вспоминаю, кусок застревает у меня в горле.

Отец так сильно переживал, что на него больно было смотреть. У него не было даже времени молча в тишине пережить свое страшное горе.

Налеты становились все более смелыми и жестокими.

И не успел отец прийти в себя, как в комнату ворвался раненый человек. Он с ужасом, без конца твердил:

– Та воны всих, всих поубывалы. Всих начальникив поубывалы. Воны ж думалы, що я мертвый.

Немедленно раздалась команда отца:

– По коням!

И послышался топот бегущих красноармейцев.

Этой ночью налетела какая-то банда на деревню и всю ночь продолжала убивать, грабить и насиловать.

Я подбежала к отцу, обняла его, он прижал меня к себе с такой силой, что я почувствовала, как дрожало все его тело и сердце билось так сильно, что мне казалось, что всем слышно.

И так продолжалось несколько дней подряд: не успевали красноармейцы освободить одну деревню, не успевали ввести лошадей в конюшни, как их ожидали уже в другом месте, и снова раздавалась команда:

– По коням!

Такой была еще жестокая действительность в то время. Свое горе некогда было горевать. Кругом все еще шла кровавая, беспощадная драка. Окрестность была терроризирована настолько, что люди умоляли отца остаться. Обещали поить, кормить весь отряд, только бы иметь защиту.

Сказка и жизнь

То, что окружало нас, недолго занимало меня своей новизной, я сильно тосковала о своих бабушках и дедушках. Мы выросли у них на руках, и моя привязанность к ним была такая же сильная, как к отцу и матери, и разлуку с ними я переживала очень тяжело.

Жизнь родных, насыщенная вечной тревогой, опасными походами, боями и стрельбой, ранеными и убитыми, быстро измотала нас, детей. За нами часто заходили какие-то нам незнакомые люди и уводили нас к себе, иногда на несколько дней, пока все не утихало.

Мне хотелось от того, что происходит вокруг нас, уйти, скрыться, чтобы никто нас ночью не будил, не отрывал от теплой постели и, завернув в шинель, не тащил на мороз во двор, где иногда со всех сторон шла какая-то беспорядочная перестрелка, бряцало оружие, ржали кони. А затем мы попадали в какую-то незнакомую избу и на нас смотрели чужие ласковые люди и, сокрушенно качая головой, говорили:

– Диты, як квиточки, тильки б жыты та радуватыся, а тут дывись чи вернуться батько, та маты, чи ни.

Эти жалостливые слова сжимали мне сердце жгучей болью, хотелось плакать, становилось жаль себя и Шурика, который, так же как и я, не понимая, что происходит, испуганно прижимался ко мне. Мы тихонько подходили к окну, протаивали в толстом заиндевелом стекле дырочку и весь день тревожно смотрели во двор, ожидая возвращения родителей.

Родные спасли нас от голодной смерти, но ничего они больше нам дать не могли, забот и волнений у них было столько, что им было не до нас. И так мне хотелось снова очутиться там, где остались такие уютные бабушки и дедушки.

Я никак не могла понять, зачем нас оторвали от родного гнезда, и теперь мы должны скитаться по свету, а как хорошо было там, думала я, в такие же пушистые зимние дни.

Я вспоминала, как после сильной вьюги, когда наметало огромные сугробы снега, я затевала игру: набирала полные стаканы снега, ставила на теплую плиту и наблюдала, как снег превращается в воду, и удивлялась, почему сахар, такой же белый и пушистый, не тает так же, как снег.

– Пора спать, – заявляла мама, укутывая меня поплотнее в теплое одеяло, и я спрашивала у мамы:

– А она злая?

– Кто злая?

– Да вот эта вьюга-ведьма.

– Пурга действительно злая, но она не ведьма, это просто сильный ветер заметает снег. Спи ты, неугомонная. Не буди брата, – и, чмокнув меня в лоб, мама уходила.

Я оставалась недовольная мамиными ответами, у мамы было все просто. Другое дело у бабушки Ирины. У нее все вещи имели свой особый характер, имели свое объяснение, и мне очень нравилось слушать ее рассказы, и я глубоко верила им.

Вот и вьюга, по бабушкиным рассказам, была страшная седая старуха, которая хватала длинными костлявыми руками охапки снега и разбрасывала их с диким хохотом вокруг себя. Когда я заскучала и захотела пойти к своей подруге Зое, бабушка сказала, что пурга очень злая, она не любит, когда детки гуляют и мешают ей беситься, она может схватить меня в свои холодные объятия и заморозить насмерть. Это было понятно, страшно и очень интересно. Я больше никогда не просилась погулять в пургу. А мама говорит – ветер и снег, разве это страшно? У мамы все просто.

Вот летом я любила заглядывать в колодец, бросать туда камешки и наблюдать, как поверхность воды вдруг оживала. Мама кричала:

– Уйди от колодца, упадешь туда!

Бабушка просила:

– Отойди от колодца, не беспокой водяного, вот он схватит тебя за косы и утащит к себе, – и я стала обходить колодец.

А здесь я часто убегала к папиному и моему любимому коню Ваське и горько жаловалась ему:

– А знаешь, Васенька, если бы ты знал дорогу, увез бы ты меня домой, – и я рисовала ему счастливые картины, о которых я сама так тосковала. – Я бы овса тебе свежего дала, на речку купать тебя водила, а потом долго бы летала с тобой по полю, пока солнце не зашло и бабушка не позвала бы нас ужинать. Ты знаешь, Васенька, нет уже ни дедушки Федора, ни бабушки Ирины, и их беленький домик на крутом берегу речки стоит холодный и пустой. И больше никогда, никогда дедушка с трубкой в зубах не будет ходить со мной на рыбную ловлю и рассказывать мне страшные и интересные сказки.

А наша красивая бабушка никогда, никогда уже после долгих прогулок не будет встречать нас и кормить вкусно пахнущим обедом из овощей, собранных вместе со мной рано утром на огороде.

А вечером, Васенька, всегда приходили знакомые, мы пили чай с вишневым вареньем, и огромные звезды, как светляки, выскакивали на черной вуали неба, лягушки у реки прохладно и громко давали свой ночной концерт, а из садика доносился нежный и любимый запах ночной фиалки.

– Значит никогда, никогда этого больше не будет, – твердила я, заливаясь горькими слезами, глядя в его огромные, по-человечески печальные глаза. – Теперь, Васенька, папа – круглый сирота.

Мне было жалко папу. И жутко и холодно становилось от мысли, что и я тоже, в один страшный день, могу остаться сиротой.

Шурик

Все военные в отряде отца очень любили моего брата и проводили с ним все свободное время. По-видимому, он всем напоминал оставленных дома детей или младших братьев. Я помню, как каждое утро, как только раздавалась команда на проверку, мой брат срывался с постели, мчался на двор и становился со всеми в одну шеренгу. Красноармейцы тащили и ставили его на табуретку:

– Наш правофланговый, – шутили те, кто проводил перекличку.

Мы с братом ходили заниматься к Наталье Петровне, мы ее очень любили. Она умела вырезать из разноцветной бумаги такие удивительные вещи: деревья, дома, животных, и все наклеивалось на картон, и получались усадьбы, сельскохозяйственные угодья, городские дома и улицы, по которым двигались экипажи.

Однажды, когда она открыла дверь, чтобы выйти, в дом ворвалась женщина, оттолкнув нас, она бросилась к столу, на котором лежала горсточка муки, и в мгновение ока, хватая двумя руками, засунула все себе в рот и так же мгновенно выскочила, мы не успели даже опомнится.

Наш Петя-пулеметчик женится

Рано утром, после большого снегопада, Николенька, Оленька и я деловито доканчивали нашего деда-мороза – у него уже все было на месте. Усы, для которых я отрезала концы своих кос, какая-то красная тряпочка вместо носа и угольки вместо глаз, даже метелка была у него в руках, не хватало только трубки во рту.

В это время во двор заехали, гремя бубенцами, широкие, по-праздничному убранные сани, и из них вышел такой же Дед Мороз, как и наш, но только в шубе и с трубкой в зубах.

И мы решили попросить или стащить ее хоть на время, за это взялся Николенька. И пока живой Дед Мороз, радостный и счастливый, приглашал всех, всех на свадьбу своей дочери Оксаны и нашего Петра-пулеметчика, его трубка очутилась у нашего деда во рту.

И я вспомнила, как накануне к нам в комнату не вошел, а влетел наш Петро и, сияя от радости, сообщил:

– Женюсь, женюсь на Оксане! Всех, всех приглашаю на свадьбу! Оксана сказала: «Щоб и диты булы», – сказал он, как Оксана, по-украински.

Оксана была «щира украинка», а Петр – настоящий сибиряк. Добрый, щедрый, он никогда, мне кажется, не съел кусок хлеба, не поделив его с нами, детьми. Я до сих пор помню этот жесткий хлеб, раздиравший горло до крови, и кусочки сахара, пахнувшие потом и махоркой.

Звезда театра

Несмотря на голод, холод, разруху и на продолжавшуюся еще в той или иной форме войну, театр никогда не умирал. Он даже расцвел с невероятной силой, как никогда раньше. Здесь, в этом местечке, работал великолепный драматический театр. Шли замечательные украинские пьесы: «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем», «Назар Стодоля» и мн. другие. И новые, написанные тут же, о гражданской войне и революции, с невероятным количеством стрельбы и порохового дыма. Репертуар был обширный, и энтузиазм молодежи неугасимый.

Хотя артисты в основном были любители, играли они искренне, задушевно. Зрители реагировали замечательно, плакали, смеялись, гремели аплодисменты. Зал всегда был битком набит до отказа.

И все эти постановки начинались и кончались пением «Интернационала». Пели все артисты на сцене: с правой стороны сцены стояли мужчины-артисты в широченных, «як море сине», шароварах, подпоясанные пестрыми украинскими кушаками, в серых смушковых шапках. Слева артистки в роскошно вышитых украинских костюмах, утопая в блеске монист и разноцветных лент.

И на фоне этой действительно потрясающей разрухи и голода гордо и мощно гремели слова «Интернационала»:

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой идти готов.

Зрители в зале вставали и подхватывали:

Весь мир насилья, мы разрушим

До основанья, а затем
Мы свой, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Пели с таким огромным, неугасимым энтузиазмом и с такой верой и надеждой на будущее, на то, что действительно «кто был ничем, тот станет всем», что казалось, эти люди могли свет перевернуть.

Под звуки этого «Интернационала» и других революционных песен прошло мое детство, и даже сейчас, когда я слышу их уже только на пластинках, перед моими глазами проплывают картины того далекого прошлого. Я вижу демонстрации под горячими лучами солнца, когда так хотелось пить, и так радостно и весело было вокруг, гремел духовой оркестр, пели песни. Или занесенные глубоким снегом села Украины с их роскошными театральными постановками, которые я так любила и не пропускала ни одной, а если нужны были в них дети, я всегда была под рукой.

Вечером здесь в театре шла оперетта «Наталка Полтавка». Играла и пела в этой опереттe Оксана. Мне и до сих пор кажется, что я никогда и нигде, ни в каком благоустроенном, с отшлифованными голосами театре не слышала лучшего и более искреннего пения.

В фойе театра был киоск, в котором продавали газеты, журналы и конфеты. Больше всего мне запомнились молочные ириски, светло-коричневые, блестящие, которые я даже не попробовала.

Как всегда в театре было очень шумно и весело. Под конец пришел папа, после какого-то похода, его встретили аплодисментами. Отец иногда даже очень коротко выступал, заверяя всех, что советская власть стремится создать счастливое будущее и что ликвидация бандитизма и всякого сопротивления советской власти – задача всех и каждого живущего в этом районе человека.

Как всегда, закончилась постановка пением «Интернационала», и все веселой гурьбой проводили нас до калитки.

Оксана была звездой этого театра. У нее был такой ласковый красивый голос, что мне всегда хотелось броситься к ней и расцеловать ее.

Украинская хата

Рано утром мы выехали в то село, где жили родители Оксаны.

Оксана, крепко укутав нас в свой теплый овчинный полушубок и, прижав к себе, всю дорогу что-то весело щебетала.

Петро ехал рядом верхом на лошади. Кругом картина была, как на рождественской открытке. Чудесные украинские домики под соломенными занесенными снегом крышами, вокруг домиков плетни, колодцы с журавлями. Поражала чистота и тишина.

Семья Оксаны встретила нас всех как самых дорогих, родных гостей.

Снаружи их домик был такой же красочный, как и все остальные, с занесенным снегом садом и огородом, внутри все блестело от чистоты.

Все было сказочно красиво, но ничего здесь не напоминало мне мою любимую, с таким красивым именем, Македоновку. В ней все дома были городского типа, кирпичные, с балконами, большими окнами, под красными черепичными крышами.

Здесь слева при входе в самую большую горницу была большая белоснежная украинская печь, разукрашенная причудливыми узорами и петухами. Казалось, что это просто украшение и никто не пользуется этой печкой. Но ею пользовались зимой, и даже летом, но как только кончали готовить, ее снова подбеливали, подкрашивали, и она стояла чистая, яркая, нарядная, как будто никто к ней не прикасался. Длинный большой стол стоял в углу

справа под образами. Вокруг портрета Тараса Шевченко висело ярко расшитое украинское полотенце.

Веселая, счастливая Оксана старалась сделать все, чтобы нам было уютно и тепло. Нас накормили, притащили старые журналы «Нивы», карандаши, тетради, поставили керосиновую лампу и уютно устроили на лежанке возле печки.

Наш Петро в своей чистой военной форме выглядел красавцем. Оксана, в украинской ярко вышитой кофте, со своей белокурой косой вокруг головы, блестела красотой. Она сидела за столом между папой и Петром в «красном углу» под образами. Я не могла отвести от них глаз. Мать Оксаны хлопотала, вынимала кочергой горшки из этой нарядной печки, подавала ужин.

Выстрел

И вдруг в этой мирной, спокойной обстановке прогремел выстрел, зазвенело и разлетелось разбитое стекло, раздался легкий стон Оксаны, и она упала головой на грудь и на руки Петра, кровь быстро залила ее лицо.

В тот же момент, когда произошел выстрел, наша лампа упала, разбилась, обдав меня горячей струей керосина, которая обожгла мне живот и ноги. Наше счастье, что лампа погасла до того, как упала и разбилась.

Со двора раздался топот бегущих людей или лошадей, остальное мне до сих пор жутко вспоминать. Искали всю ночь. Следы вели в сад, но шел снег, и их быстро заметало. Прихватили каких-то двух типов, оказалось – не они.

Была страшная ночь. Так же как и все, я не могла уснуть всю ночь. Страшно горело обожженное горячим керосином тело, но я как будто окаменела и не могла оторвать глаз от мраморно-белого лица Оксаны, которая только что целовала нас, говорила какие-то ласковые слова и вдруг навеки умолкла, и можно было кричать, биться головой об стенку – и ничего, ничего не поможет.

Что же творилось с матерью и отцом Оксаны, даже страшно вспомнить. Кто и какими словами мог утешить их? Мать сидела всю ночь, прижав голову к остывающему телу своей дочери. Вместе с ней и их жизнь кончилась. Как можно пережить такое?

И вместо веселой свадьбы были тяжелые, печальные похороны красавицы Оксаны. Она лежала в гробу, как живая, под теми же образами.

Тот, кто совершил это гнусное, жуткое преступление, был, по-видимому, очень хорошо знаком с этой местностью, т. к. он очень ловко обошел расставленные повсюду патрули и исчез, как сквозь землю провалился.

А нашего веселого красавца Петра невозможно было узнать. Отец предлагал ему уехать в отпуск, прийти в себя. Но он категорически отказался заявив:

– Никуда я не уеду до тех пор, пока от этих гадов и следа не останется. Пока я всю эту сволоту собственными руками не передушу.

Обожженные части моего тела покрылись мелкими волдырями, но я никому ни слова не сказала об этом.

В одном из очередных походов ранен был папа и с ним наша любимая лошадь Васька. Отец так был удручен ранением своей любимой лошади, что на свою рану даже не обратил внимание.

– Та у вас же кровь из голенища хлещет, – сказал кто-то.

Пришлось разрезать сапог и перевязать рану, но рана Васьки оказалась смертельной.

– Сколько раз он мне жизнь спасал, – грустно вспоминал отец.

Я тоже оплакивала гибель Васьки, я тоже потеряла друга, и теперь мне некому было рассказать, как мне тяжело. Мне казалось, что он по человечески понимал меня.

Конец банды Махно

Амнистия

ВУЦИК – Всеукраинский Центральный исполнительный комитет объявил амнистию всем, кто воевал в годы гражданской войны против советской власти на Украине, а теперь готов встать на путь честного труженика и работать на пользу новой советской власти.

Эта амнистия не распространялась только на таких «закоренелых преступников», как командующие белогвардейскими войсками и главари бандитских формирований, врагов рабочих и крестьян Украины: Скоропадского, Петлюру, Тютюника, Врангеля, Деникина, Кутепова, Савинкова, Махно и многих других.

Для того чтобы собрать народ и сообщить ему об амнистии, в то время был один единственный способ – колокольный звон. Поэтому с самого утра начал звонить церковный колокол, и к обеду на площади вокруг церкви было столько народу, что, как говорится, иголке некуда было упасть.

Помню заснеженную, переполненную народом площадь у братской могилы, в которой только что похоронили пять молодых красноармейцев, изрубленных, превращенных в кровавое месиво теми самими бандами, которые еще очень активно орудовали в нашей местности. С трибуны доносился голос отца:

– Война кончилась. Советская власть объявила амнистию.

Женщины в огромных украинских цветных шалях. Мужчины в овчинных тулупах, и среди них много, много военных.

Отец, всегда немногословный, говорил почти 3 часа, и люди стояли и слушали так тихо и внимательно, что, казалось, слышно даже, как падают снежинки. Он говорил с огромным энтузиазмом, с жаром об ужасах, переживаемых страной, о голоде, о разрухе и о том, что нужно общими усилиями взяться за восстановление разрушенной страны и укрепление добытой в таких тяжелых боях свободы. И о том, что амнистию объявила *самая гуманная* и *справедливая* советская власть. Когда он закончил, к нему двинулась толпа, его окружили женщины, мужчины, старые, молодые, среди них были даже дети. И все обращались к нему с одним и тем же наболевшим вопросом: «Скажите, у меня муж, отец, сын, брат или просто друг находился в Белой армии, у Деникина, Врангеля, Петлюры, Махно и в различных других военных формированиях, а сейчас прячутся. Если они сдадутся, что с ними будет?»

Многие плакали и ожидали, ожидали от отца ответа, как приговора.

Отец отвечал:

– Наша, теперь уже наша, советская власть объявила амнистию, и тот, кто добровольно сложит оружие, будет помилован.

Люди благодарили.

– Да вы не меня, а советскую власть благодарите, она несет всем свободу и счастье, а я также вместе с вами счастлив, – отвечал отец. Он так глубоко был уверен в этом.

Уже на следующий день рано утром у дверей военной канцелярии образовалась очередь. Одни приходили, бросали оружие и клятвенно обещали никогда не подымать руку против советской власти, другие, и многие из них, говорили, что они были просто мобилизованы, и что у них другого выхода не было. А некоторые заявляли:

– Так мы давно собирались прийти, но боялись, что убьют.

Отец рассказывал, что были и такие, кто говорил:

– Много у меня греха на душе, знаю, что не простят, убьют, но все пошли, и я пришел, чего же одному подыхать.

Однако сопротивление банд[10] все еще не утихало и продолжалось иногда даже с еще большей жестокостью. В этих местах продолжал орудовать какой-то неуловимый Грицько. Уже одно имя вызывало панический страх у населения. И я помню, как отец этого Гришки, старичок, приходил несколько раз жаловаться на бесчинства сына и просил помощи. Но Гришка оставался неуловимым. И вдруг привезли раненую девочку лет десяти, она без конца твердила:

– Та це все Грицько, вин всих поубывав в хати, всих позаризав.

Он убил всю свою семью, семь человек: отца, двоих братьев, двух невесток и двух детей. Каким-то чудом уцелела раненная, но живая Наталка. Она долго жила с нами, пока какие-то родственники не забрали ее.

Отовсюду все еще продолжали поступать сведения о безжалостных зверских убийствах различных представителей местной власти.

Угрозы

На отца было совершено уже несколько покушений. Отец не переставал получать угрожающие письма, одни написанные от руки, другие напечатанные на пишущей машинке, но содержание было одно и тоже: требование немедленно или в трехдневный срок вывести свои отряды из этого района, а если нет, то вот тебе гроб, с крестом или без креста.

Прочитав такие письма, отец выбрасывал их в мусорный ящик. Только несколько из них сохранились, благодаря Косте, и попали в музеи Мариуполя и Гуляйполя. Там я их и видела, когда мы с классом посещали эти музеи.

И как раз в это время к отцу пришел новый, только что назначенный, не то четвертый, не то уже пятый, председатель местного совета (т. к. всех предыдущих очень быстро убивали, дома, на работе или прямо на улице). Он сообщил, что к нему явился человек от командира особого отряда батьки Махно Забудько.

Забудько, командир особого отряда, не захотел бежать вместе с Махно, когда тот с небольшой группой (остатками своих, когда-то многочисленных, войск) приблизительно в 200–250 человек, после бесконечных и ожесточенных боев, неоднократно раненный, в августе 1921 г. пересек Днестр и бежал за границу в Румынию. Он остался вместо батьки Махно в их логове в Дибровском лесу и возглавил махновские отряды, или, как тогда уже говорили, махновские банды, которые дрались теперь не на жизнь, а на смерть, зная, что все равно другого выхода у них нет. Эта была война даже более опасная, чем обыкновенный фронт, так как враг был невидимый, скрытый.

Приглашение в Дибровский лес

Так вот, этот самый Забудько, правая рука батьки Махно, передал, что хотел бы вступить в переговоры, но только с отцом и при одном непременном условии: что отец придет к нему в Дибровский лес, где находится их штаб-квартира, один, без охраны и с этим, совершенно незнакомым ему, человеком.

После стольких случаев покушений, после стольких писем с требованием убраться и угроз убийства отправляться ночью в Дибровский лес, где еще со времени борьбы с германскими оккупантами находились оборудованные ими подземные блиндажи, лазареты, склады оружия! По существу, это была военная база и штаб-квартира батьки Махно, откуда они

[10] Подробности см. Исторические комментарии. Контрреволюционные группировки. С. 773.

вели разведку, производили налеты и где находили убежище в критические моменты своей борьбы и оставались неуловимыми.

Туда даже регулярные войска опасались забираться даже днем, пойти туда на переговоры ночью, с абсолютно незнакомым человеком, без охраны, было воистину безумие. Когда в Дибровском лесу в это время расположилась уже даже не армия, не повстанцы, а самые закоренелые, отъявленные бандиты, грабившие, убивавшие, насиловавшие без разбору, и с которыми было трудно справиться даже самому оставшемуся с ними Забудько, командиру особого боевого отряда батьки Махно.

Если раньше дисциплину батька Махно поддерживал прямо расстрелом на месте, то сейчас анархия дошла до предела, и выход у Забудько был один – сложить оружие и сдаться на милость победителей.

Когда отец рассказал об этом своим ближайшим помощникам в отряде, все в один голос запротестовали: нельзя – убьют! Это просто ловушка.

В бандитском логове

Я проснулась под утро, было еще темно. В комнате было полно военных, но отца среди них не было. Красноармейцы во дворе вывели из конюшни лошадей, нервничая, топтались на месте. Куда идти? Где искать?

И когда чуть-чуть забрезжил рассвет и в предутренней мгле вдруг появились два всадника, все радостно бросились к отцу. После такого напряжения всем казалось, что он как будто с того света вернулся. Громкое «ура!» огласило утреннюю тишину. Поздравляли отца и его спутника. Кто-то спросил у папы:

– Скажите, а страшно было?

– Страшно, – искренно и просто ответил отец. – Но я знал, что это надо было сделать, и это было главное.

«Особенно страшно было, – рассказывал папа, – когда после долгого блукания (блуждания) по лесу мы очутились где-то среди густого кустарника у великолепно замаскированного снаружи входа куда-то в подземелье. Здесь у меня мелькнула мысль: ступив за этот порог, выйду ли я оттуда живым, или здесь, в этой чертовой норе, найду свою могилу. Я недоверчиво взглянул на своего спутника, но он уже открыл передо мной дверь. Невероятно спертый воздух, до тошноты со свежего воздуха, и тьма кромешная окружила нас.

– Нагнитесь, ступеньки ведут вниз, – подсказал мне провожатый. За небольшим поворотом мы очутились в довольно просторном полном людей помещении. Здоровые, раненые, больные лежали и сидели на полатях, на креслах и даже на полу. Помещение тускло освещалось керосиновыми лампами. Из глубины этого помещения к нам вышел человек средних лет, весь обросший, но с хорошей выправкой. Вежливо поздоровавшись, он попросил нас пройти в отдельное помещение. Дорогие роскошные ковры на полу, кругом тесно поставленная хорошая мебель, тщательно убранный письменный стол.

Передо мной стоял Забудько, тот самый Забудько, который был правой рукой и командиром особого боевого отряда Махно, который не захотел бежать в Румынию вместе с Махно, остался в знаменитом Дибровском лесу и возглавил отряды махновцев. Забудько произвел на меня приятное впечатление, – продолжал отец. – Наши переговоры продолжались недолго. Вопрос о сдаче был, по-видимому, у него решен. Но он хотел сдаться *именно нам* и получить *гарантию от меня,* что всех, кто сдастся вместе с ним, я не передам ЧК.»

Чекист Лаубэ

Все сводилось к тому, как избежать и есть ли возможность избежать ЧК. Попасть в ЧК означало неизбежную смерть для всех.

Начальником ЧК на Гуляйпольщине был латыш Лаубэ. Высокий блондин с голубыми, как льдинки, глазами. О нем шла молва, что он бессердечно жестокий и что не дай бог попасть к нему в руки или к нему в подвалы ЧК. Но все «светские дамы» по нему с ума сходили, находили, что он красавец. Женился он на нашей учительнице, такой нежной и хрупкой, как фарфоровая кукла. Все говорили, что она бывшая жена бежавшего за границу офицера.

Мой брат Шурик, по-видимому, наслушавшись всяких ужасов о нем, на общей какой-то юбилейной фотографии выколол ему глаза булавкой, к ужасу нашей мамы. Вот к нему в руки и боялись попасть все амнистированные.

Трудная задача

Отец по своему положению, как командир специального кавалерийского отряда Красной армии по борьбе с бандитизмом, был независим и мог решать многие вопросы сам. Но суд, расправа и тюрьма находились в руках ЧК и его начальника Лаубэ. Вот он и требовал всегда всех пленных сдавать ему в ЧК, и некоторые иногда даже до тюремной камеры не доходили. Их он мог расстрелять просто по дороге – «при попытке к бегству».

Отец знал все это, и поэтому его вторая, и не менее героическая, задача была, как передать этих людей в соответствующие военные органы, минуя Лаубэ.

Инвентаризация

Как только отец вернулся из своего похода, он немедленно дал приказ красноармейцам запрягать лошадей и отправляться в лес помочь вывезти больных, раненых и освободить заваленные награбленным добром подвалы.

И целый день, с утра до вечера, из леса везли награбленные богатства. Несколько комнат рядом с канцелярией были битком набиты до потолка. Чего здесь только не было: всевозможных видов оружие, седла, сбруя. Горы, горы дорогих мужских и дамских меховых, суконных, кожаных шуб; дорогие плюшевые одеяла; сундуки с бельем и одеждой и огромные мешки, не просто какие-то там мешки, а чувалы из-под зерна, полные драгоценных ювелирных изделий. Все это добро везли, везли, и казалось, конца этому не будет. Появились какие-то страшные обросшие люди. Привезли раненых – грязные, у многих раны уже начали гноиться. Смотреть на них было страшно. Мобилизовали врачей, сестер для оказания им первой помощи.

Когда вся эта операция была закончена, приступили к инвентаризации, отец хотел передать все это добро в распоряжение Харьковского военного округа.

Я вспоминаю маленький эпизод, как пример того, с какой скрупулезной строгостью отец относился ко всему.

Во время инвентаризации Федор вошел в комнату, снял со спинки стула старую потрепанную кожаную куртку отца и заменил ее на совершенно такую же, только новенькую. Вошел отец, начал искать свою куртку.

– Где моя куртка? – обратился он ко всем.

Федор обернулся.

– Та вон вона на стуле.

– Я спрашиваю: где моя? – закричал он так, что потолок задрожал. – Эту убрать немедленно!

И бедный Федор долго даже боялся зайти к нам в комнату. Помню, приоткроет дверь: «Батько дома?» спросит, и если его в комнате нет, заходит.

Таким *неподкупным, честным* оставался отец до конца своей очень короткой жизни. Для блага страны и советской власти, не дрогнув, готов был пожертвовать своей жизнью и даже нашей, но для себя не хотел ничего, ни при каких обстоятельствах.

Все имущество, все до последней пылинки, отец передал на хранение в Гуляйпольскую казну, поставив об этом в известность ЧК и лично Лаубэ. Но категорически отказался выдать людей по требованию того же Лаубэ, ввиду того что он уже отправил в Харьков рапорт с просьбой немедленно прислать комиссию для сдачи ей людей и имущества.

Слово чести

Из Харькова в Гуляйполе немедленно прибыл Вячеслав Рудольфович Менжинский – член Президиума ВЧК УССР. Когда отец вошел в кабинет с докладом, Менжинский вдруг поднялся и заявил:

– Именем военно-революционного трибунала вы арестованы. Всех махновцев немедленно передать в распоряжение ЧК.

Всего мог ожидать отец, но не такого приема. Все мог вытерпеть, но ни при каких обстоятельствах, никогда – подлости и несправедливости.

Отец рассказывал, что он положил на стол все документы, оружие и даже снял военную гимнастерку, и, повернувшись к вошедшим красноармейцам, заявил:

– Ну, что же вы стоите? Берите меня под стражу. Я арестант!

Никто из красноармейцев не тронулся с места.

Лаубэ вскочил быстро, выслал всех из кабинета.

Менжинский обратился к отцу с просьбой успокоиться, не горячиться.

Он заявил, что к ним в Харьков поступил материал, что отец слишком мягко поступает с врагами и не выполняет распоряжений ЧК, тем самым дискредитирует ответственный советский орган. Но он надеется, что все это недоразумение, и все можно будет решить гораздо проще, чем минуту назад.

Отец ответил, что он твердо и решительно боролся с врагами, защищая нашу родину на поле боя. Но те, кто добровольно сдались в наши руки, по нашей, нами объявленной *амнистии,* ждут не расстрела из-за угла, а ждут *справедливого* решения их судьбы.

– Я связан *словом чести,* и воинская честь для меня дороже всего. Мы же коммунисты, а не бандиты. Со мной поступайте, как хотите, в соответствии с полученным вами приказом. Но я твердо стою на своем. Мое слово окончательное, и до тех пор, пока не приедет комиссия, дальнейшие разговоры со мной я считаю бесполезными.

Когда отец вернулся, все уже знали, что произошло. Все были потрясены:

– Это за что же? – недоумевали все.

Забудько после возвращения отца влетел к нам в комнату, это даже я помню, и умолял отца не передавать их в ЧК Лаубэ. Он спал в кабинете отца в канцелярии, по существу, у нас под дверью, до последнего момента, до тех пор, пока не приехала из Харькова комиссия, которая многих рядовых передала на поруки родным и близким, ведь почти весь рядовой состав этой армии состоял из крестьян близлежащих сел.

А весь комсостав был отправлен в Харьков. Я помню, отец рассказывал, что иногда он встречал на разных конференциях и совещаниях кое-кого из них, значит, некоторые сумели примириться, приспособиться и работать на шветскую власть. Что касается Забудько, я нико-

гда ничего о нем от папы не слышала, и я думаю, если бы папа когда-нибудь его встретил, он бы об этом упомянул.

Ведь действительно, произошло, по существу, историческое событие. Закончилась, закрылась еще одна страница нашей чисто русской истории.

Русский самородок

Появление и существование Махно с его 50-тысячной армией (а иногда даже больше), принимавшего самое активное участие в гражданской войне, имевшего свою программу, за которую шла без оглядки в бой его армия, – это явление сродни появлению Стеньки Разина, Пугачева, Ермака в русской истории, и к этому нельзя относиться как к просто бандитизму.

Отец считал, что и сам Махно это не просто бандит, а типично русский самородок, как Стенька Разин, Ермак, Пугачев и многие другие. И что Махно и махновщина – одно из очень интересных, важных и очень запутанных явлений, происходивших в годы гражданской войны.

И что роль Махно на Украине во время гражданской войны, в борьбе за освобождение Украины от немецких оккупантов и белогвардейщины, а также его борьбу с большевиками-коммунистами еще никто не потрудился толком исследовать, проанализировать, распутать и описать.

– По существу, во время гражданской войны на Украине, – говорил отец, – было три армии, боровшихся за власть: Красная армия, Белая армия и армия батьки Махно.

Махно отчаянно боролся с немецкими оккупантами Украины, белогвардейщиной, скоропадщиной, петлюровщиной и с большевиками. Махно называл себя анархистом-коммунистом и боролся за «вольные советы» и «безвластное государство».

И ликвидация его штаб-квартиры в Дибровском лесу захлопнула крышку над могилой махновского движения.

С этого момента также прекратились налеты, грабежи и насилия. И наступили, в какой-то степени всеми давно забытые, тишина и спокойствие. За одно это, за мужество, за геройский поступок надо было благодарить отца и его отряд. Ни о какой награде ему даже в голову не приходила мысль, он только думал, как бы скорее закончить происходившие вокруг ужасы и приступить к мирной жизни.

Отстрелялись!

До сих пор помню это странное чувство, как будто после грозы вдруг наступила тишина. И помню, как мой брат, взобравшись к отцу на колени, спросил:

– Папа, почему больше не стреляют?

В его представлении, как и в моем, вся жизнь – это война и стрельба, болезни и смерти, другой мы не знали. И отец, смахнув грусть с лица, отвечал ему:

– Отстрелялись, сынок, отстрелялись. Теперь конец. Теперь мы новый мир строить начнем, да такой, чтобы ни тебе, ни твоим детям, ни твоим внукам никогда, никогда уже стрелять не пришлось. А это, брат, потрудней стрельбы будет. Ну да не беда. Большевики ведь на то и большевики, чтобы не бояться трудностей.

Он так был уверен, что отстрелялись раз и навсегда и что больше никогда, никогда люди не решатся на такое побоище.

Петька-пулеметчик снял с пулемета служивший покрывалом весь изрешеченный пулями ковер, принес маме:

– Береги на память.

Этот ковер принесла им какая-то украинка со словами:

– Оцэ щоб йому тепло було, щоб не заржавив от снигу та дождя.

Этим ковром был бережно накрыт пулемет в любую непогоду от дождя и снега, когда он молчал. Он, то есть этот ковер (а по существу, это была скорее просто плюшевая скатерть), всю жизнь оставался единственной и самой ценной реликвией нашей семьи. Он видел много, и много мог бы рассказать. Мама с Петром делила все тяжести походов и боев на тачанке рядом с пулеметом.

Сколько раз, переезжая, нам приходилось ликвидировать наше незатейливое «хозяйство», и куда бы мы ни переезжали и сколько раз ни теряли бы все, этот тоненький коврик всегда висел над кроватью, и на нем висело именное оружие, тщательно вычищенное и смазанное заботливой рукой отца. Все эти вещи с надписями именные – в те годы награждали именным оружием за различные подвиги, у каждой этой вещи была своя очень интересная история. Этим оружием часто пользовались местные любители-артисты, когда в театрах на сцене разыгрывались современные постановки о революции, о гражданской войне и о том, что недавно «разыгрывалось» в жизни, с невероятным количеством пустых выстрелов и едкого порохового дыма.

Погибли все боевые друзья этого ковра, а он, как немой свидетель былой отваги и чести замечательных людей, всегда висел у моего изголовья, и он мне был так дорог, что я не обменяла бы его ни на какие сокровища на свете. Каждая дыра на нем имела свою историю, обагренную кровью смелых, мужественных людей.

Как Саша стал Наташей

Для нас только сейчас наступило мирное время. Вскоре мы переехали в Гуляйполе.

Здесь мы встретили Наташу и Костю, которые уехали туда раньше, и остановились у них. Костя, это тот самый Костя, который спас жизнь отца, когда был взорван мост и раненый отец упал с лошадью в реку. С тех пор он никогда с отцом не разлучался. А те, кто видели, что произошло, передавали нам, что отец тогда погиб.

Наташа вышла с Костей из больницы в образе парнишки, который якобы прибился к отряду, и все считали его офицерским сынком, которого приютил Костя. Но все полюбили его за его нежность, мягкость и чуткость.

И когда мы прибыли в Гуляйполе, этот милый Сашенька оказался очаровательной Наташенькой, здесь они и поженились. Свадьба была шумная, веселая. Никто не думал тогда, какая ужасная судьба постигнет их позже. Мы ходили с ней на замерзшую речку, катались на каких-то самодельных, с трудом приспособленных к нашей обуви коньках, и здесь же удили в проруби рыбу.

И мне казалось, что всем, также как и нам, кажется странно, что после стольких лет непрерывной борьбы, непрерывной стрельбы наступила вдруг тишина.

Начнем с нуля

Окончилась война. Окончилась стрельба, и надо было на развороченных снарядами руинах, на пропитанной кровью земле, усеянной трупами убитых, раненых и умерших от голода, холода и болезней людей, начинать *новую,* абсолютно новую, не совсем еще осознанную, никогда никем не апробированную «новую, при абсолютно новой системе жизнь».

Была истая, великая цель, ради которой они дрались не на живот, а на смерть, не жалея своих голов. Никто не знал, никто еще не понимал и ни у кого не было ни малейшего опыта, и неоткуда было взять его, и никакого представления, с чего же надо начинать, с новыми, абсолютно новыми, полными энтузиазма, но в основном малограмотными или совсем неграмотными людьми. Ведь начиная от какого-нибудь дворника и до самого наркома всюду были новые люди, и у каждого была своя идея, какой должна быть и какой будет новая система, новая власть и новая жизнь.

До самого 30-го года существовали еще *ликбезы* – курсы по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Миллионы, миллионы людей не умели просто расписываться. Мне было 15–16 лет, когда мне пришлось преподавать рабочим-строителям четыре простых действия арифметики. Вся жизнь начиналась с нуля.

В простенькой, скромной рамке стоял на столе портрет отца во весь рост в военной форме, написанный каким-то местным художником. Отец надел гражданскую одежду, и мне он казался другим, не похожим на себя – новым. И ему самому как-то было странно, что он сменил «меч на орало».

Цветы улиц

Мама сразу же заявила, что сейчас в первую очередь необходимо немедленно приложить все силы и заняться вопросом ликвидации беспризорности. Надо открыть новые дома и улучшить условия жизни в тех домах, которые уже существуют и которые не могут охватить армию бездомных ребятишек, скитающихся по безграничным просторам России.

Война, революция, Гражданская война, голод и разруха лишили этих детей всего: отцов, матерей, крова. Жизнь, как злая мачеха, разогнала их по свету.

Зимой в трескучие морозы – в язвах, со вздутыми животами и страшными голодными глазами, завернутые в невероятные лохмотья, ползающие на кучах отбросов, разрывающие коченеющими руками снег в поисках пищи, они заполняли сырые, холодные подвалы разрушенных домов, заброшенных шахт, полные голодных крыс, которые иногда отгрызали у детей пальцы ног и рук. Дети боролись за свое существование, как могли.

Они собирались в шайки, занимались грабежами, а порой и убийствами. У этих шаек были свои законы, свои уставы. Они делились по специальностям, делили между собой районы города. У них сложился свой фольклор, свой жаргон, собранный впоследствии в словари внушительных размеров, который изучали работники уголовного розыска, следователи и судьи.

У всех у них, у этих бездомных, всех национальностей и всех вероисповеданий, детей было одно общее имя – беспризорные.

Воровство, пьянство, разврат были школой первой ступени для этих детей.

Это было тяжелое наследие Первой мировой войны, предреволюционной и революционной эпох, с чем надо было бороться и как можно скорее ликвидировать.

В поисках настоящих людей

Мама начала обивать пороги учреждений и, вернувшись домой, жаловалась:

– Куда проще было воевать! Там были люди смелые и честные. Я даже не подозревала, что в эти жестокие годы гражданской войны могла появиться такая большая когорта бездушных бюрократов. Трудно поверить, что это вчерашние освободители России!

И она уехала в Харьков искать «настоящих людей».

Там она рассказывала о Донбассе, о детях, ютившихся в затопленных, заброшенных шахтах.

– Беспризорность – это наш позор, мы должны как можно скорее это все ликвидировать.

Она просила оказать ей помощь, обещала организовать целый ряд детских домов, уверяла, что крестьяне ей помогут продуктами. Она просила дать ей возможность набрать кадры преподавателей и рядовых работников, отпустить средства для их содержания и зарплаты, а также получить немного мануфактуры, чтобы одеть детей.

Возвращалась она, окрыленная надеждой, увозя с собой не деньги и мануфактуру, а *обещания,* что ей помогут, и напутственные слова «продолжайте».

– Из всех людей, кого я знаю, – с восторгом рассказывала мама, – Феликс Эдмундович Дзержинский, председатель Комиссии по улучшению жизни беспризорных детей, делает все и больше всех в отношении ликвидации беспризорности.

Я помню, как мама в поисках продовольствия даже до Ташкента на верблюдах добиралась. И потом весело рассказывала нам, как верблюды плевались, когда ребята бегали за ними и дразнили их. В те годы, по-видимому, это был один из самих надежных видов транспорта и способов передвижения.

У Эльзы

Нас в это время оставляли на попечение худой, высокой как жердь, Эльзы – немки, преподавательницы детского дома, или у красивой, как рафаэлевская Мадонна, Анны Капитоновны – дочери священника.

Анна Капитоновна вместе с сестрой Олей и братом Олегом, который работал секретарем у папы, жила в большом, из красного кирпича, доме, окруженном огромным запущенным садом. Мебель в этом доме была сдвинута так, как будто в него только что въехали и не успели расставить все по местам.

Мы очень любили эту семью и чувствовали себя с ними, как дома. Когда Олег женился на Верочке, нас, детей, уложили спать в спальне, и я проснулась от веселого шума и вышла посмотреть, что происходит в огромной гостиной. Олег схватил меня за руки и стал танцевать со мной – это был мой первый танец.

Эльза была воспитательницей детского дома, где мама была директором. С ней я часто ездила в неподалеку расположенные немецкие колонии, в одной из которых жили ее родные.

Здесь мне сразу бросались в глаза чистота и порядок. Женщины работали в поле в белых панамах, чистых фартуках, в перчатках. С нами здоровались очень вежливо:

– Гуд морнинг, – и мы въезжали в широкую, прямую, как стрела, улицу с мощеными тротуарами, обсаженными могучими, роскошными деревьями, где за высокими красивыми железными оградами в строгом порядке стояли окруженные огромными садами один за другим великолепные кирпичные дома.

Фруктовые деревья ломились от изобилия всевозможных фруктов, яблок, груш, слив и необыкновенно вкусных ягод. А кругом цветы, цветы и розы, тьма-тьмущая роз, украшали вокруг дома и аллеи садов, и чистые-пречистые дворики, которые осенью превращались в тока, на которых после молотьбы скирдовали солому в аккуратные живописные скирды.

В каждом доме на просторной кухне была большая плита, а в конце ее был вмурован огромный котел, в котором всегда была горячая вода. Зимой, даже в самые сильные морозы, все спали в ненатопленных помещениях под пуховыми одеялами с грелками в ногах и с открытыми форточками.

Женщины зимой вязали и разматывали шелковичные коконы. В каждом доме разводили шелковичных червей, для этого у всех во дворе росли тутовые деревья, а в огромных залах на полу летом были разбросаны зеленые ветки тутовых деревьев и масса различных черных, белых, желтых шелковичных коконов, которые женщины ловко распаривали и также ловко разматывали.

Карандаш из гильзы

В школу пошла я очень рано. Мой первый карандаш и карандаш моей подруги Зои были отлиты Зоиным братом Юрой из свинцовых пуль, собранных им после боя. Он также делал из патронных гильз, собранных после боев, обручальные кольца, выглядевшие не хуже золотых.

В одно прекрасное осеннее утро, когда я увидела бегущих мимо нашего дома в школу ребят, я выпросила у дедушки тетрадь, схватила отлитый мне Юрой карандаш и помчалась вслед за ними через всю площадь в школу.

Школа была в одном здании при церкви и состояла из двух комнат: в первой комнате размещались 1-й и 2-й классы, во второй комнате 3-й и 4-й классы. В этом же крыле размещались небольшая библиотека и небольшая квартира учителя с женой Маланьей Николаевной (которая после смерти ее мужа – нашего учителя – и смерти моей бабушки вышла замуж за нашего дедушку и стала нашей бабушкой Маланьей).

Моя мама тоже училась в этой школе и у этого же учителя. Увидев меня, учитель в недоумении спросил:

– А ты откуда взялась?

Но, взглянув на меня, махнул рукой:

– Да ладно, ладно, сиди, учись.

И я была одна из самых старательных учениц, стихи учила на лету и строчила их, как из пулемета.

Приезд мамы оторвал меня от учебы, и вся моя дальнейшая учеба полетела вверх тормашками. Но несмотря на эти тяжелые, суматошные годы, нас все-таки очень старались учить.

О нормальной учебе в школе не могло быть и речи. Для этого у нас не было никакой физической возможности, бесконечные переезды нашей семьи с места на место, иногда по два-три раза в год, не давали возможности даже хорошо познакомиться с детьми, учителями, наши родители снова собирали свой незатейливый багаж, и мы переезжали на новое место.

Смысл жизни моего отца

Наступили дни мирной гражданской работы. Членов партии в те годы было не так много, а крепких, испытанных, как тогда говорили, *проверенных в боях,* еще меньше.

Весь смысл жизни отца заключался в том, чтобы продолжать бороться за те идеи, за которые было принесено столько жертв и пролито столько крови. Он теперь хотел бороться за *счастливую* жизнь, за счастье *всех* людей на свете. И для него это были не пустые слова. Это была та *цель,* ради осуществления которой он готов был работать днем и ночью, без отдыха, без выходных, без отпуска.

Слова «устал» или «отдых» отсутствовали в его лексиконе, он никогда ни на что не жаловался и, я уверена, никогда не интересовался, сколько он будет получать за свой труд. Он был одним из тех, кто считал, что завоевать советскую власть – это только начало.

Главное – подготовить новые кадры, организовать, наладить работу и выполнить те огромные задачи, которые партия поставила перед собой, и обещания, которые партия дала народу. Это основная работа, и нельзя, нельзя почивать на лаврах победы, т. к. впереди еще непочатый край работы.

Его и перебрасывали с одного аварийного участка на другой, где требовалась его неугасимая энергия и умение быстро организовать и наладить работу, а таких аварийных участков в условиях послевоенной разрухи было очень, очень много.

И мы снова и снова переезжали с места на место, из одного города в другой. Он не успевал соскочить с поезда или с подводы, как уже мчался на работу. Мы его почти не видели. Ему не хватало 24-х часов в сутки, приходил он в полночь и уходил с петухами.

Как *член партии,* он испытывал глубокое чувство ответственности перед народом и стремился всеми силами как можно скорее доказать, что та идея и та советская рабоче-крестьянская власть, за которую они так тяжело и так героически боролись, должна быть самой лучшей, самой крепкой, самой справедливой на земле. Поэтому он всегда надеялся, что еще немного, еще чуть-чуть надо потерпеть, и тогда всем-всем будет лучше. Всем-всем должно было быть лучше, а не нам, не ему одному, он жил, боролся и работал для всех, на благо всех, никогда не ожидая и не требуя никаких привилегий и никаких наград для себя.

Новая экономическая политика

В марте 1921 г. на 10-м Съезде партии по разработанному В. И. Лениным плану была принята новая экономическая политика – НЭП. НЭП был введен взамен неудачного эксперимента политики военного коммунизма, вызвавшего всеобщие волнения, и для скорейшего восстановления и развития разрушенного народного хозяйства. Продразверстку заменили продналогом, разрешили частную торговлю, частные мелкие промышленные предприятия и даже иностранные концессии под строгим контролем государства. Ленин подчеркивал, что НЭП не отступление от социалистического строительства, а единственная политика, обеспечивающая возможность *построения фундамента социалистической экономики.* Десятки, сотни пропагандистов и агитаторов разъясняли крестьянам, что НЭП – не случайное или временное мероприятие, а введен правительством на *продолжительное* время, и что восстановление разрушенного народного хозяйства надо начинать с сельского хозяйства, и что без получения необходимого продовольственного сельскохозяйственного сырья нельзя рассчитывать на подъем и развитие промышленности.

Крестьянам даже разрешили *арендовать* дополнительные земельные участки и нанимать рабочих, правда, не больше двух человек, в горячую пору уборки урожая. Это было то,

о чем всегда твердил Бухарин – что первым делом надо создать *продовольственное богатство* в стране.

Начали открываться мелкие предприятия, концессии, быстро, как грибы после дождя, появились маленькие ювелирные, кондитерские, магазинчики с игрушками и всякой всячиной, где продавали такие аппетитные, блестящие кремовые молочные ириски, которые мне так хотелось, но не удалось даже попробовать.

Великолепный Бердянск

Впервые по-настоящему я пошла в школу в городе Бердянске. Проверив мои знания, меня посадили в 5-й класс.

До этого мы с братом иногда занимались у частных репетиторов, и я не помню случая, чтобы мне не пришлось прервать учебу один или два раза в течение учебного года. Я была очень стеснительная, и для меня было мучительно тяжело появляться каждый раз в школе «новенькой» и привлекать к себе всеобщее внимание. Поэтому я была очень рада, что хоть на один год я останусь на месте. В моем классе все были на пару лет старше меня, но это меня не смущало, я уже привыкла общаться с детьми намного старше меня.

Бердянск в те годы выглядел великолепно.

НЭП здесь был в полном разгаре. *Поворот* от военного коммунизма *к новой экономической политике,* провозглашенный на 10-м съезде партии, вызвал у народа *колоссальный энтузиазм.*

В это время уже была введена единая денежная система и появилась твердая валюта – обеспеченные золотом червонцы, серебряные и медные разменные монеты. И я никак не могла понять, почему серебряные монеты стоят меньше бумажных купюр.

Рынок был завален продуктами: на прилавках глыбами лежало масло, свежее мясо, овощи, фрукты. Лавки ломились от всевозможных товаров, в писчебумажных магазинах можно было достать все: карандаши, тетради, детские игрушки, мячи, куклы непривычно радовали взор.

Я часто останавливалась у витрин и долго разглядывала эти детские богатства. Во мне боролись два чувства: детство – мне хотелось иметь вот ту большую куклу, с волосами, как лен, и голубыми, как васильки, глазами; колясочку и всю обстановку для ее комнатки. Играли мы до сих пор разноцветными осколками битой посуды. Но я знала, что игрушки очень дороги, и я никогда не буду их иметь. И тогда я успокаивала себя тем, что я уже большая и мне стыдно играть в куклы.

Но вот мое внимание привлекли разноцветные мячи. Подсчитав свой бюджет, я заметила, что у меня не хватает одной копейки для покупки маленького разноцветного мячика. Продавец, аккуратно проверив, поверил мне, что копеечку я обязательно принесу, и, осчастливленная, я помчалась домой, чтобы поиграть с братом в мяч. И как сейчас помню, при первом же ударе мой мяч залетел на крышу чужого дома, и я больше никогда его не видела!

Я мчалась мимо витрин колбасных и кондитерских магазинов, которые ломились от изделий: торты, кексы, печения, всевозможные пирожные. У столиков сидели, весело болтая, люди, уплетая пирожные и запивая их шипучей сельтерской водой из сифонов или разноцветными вкусными фруктовыми напитками.

Из колбасных лавок шел такой запах, что можно было язык проглотить.

По городу медленно и важно двигались тяжело нагруженные арбы со спелым, сочным виноградом с прохладным названием «Березка». У нас во дворе из этого винограда давили самым примитивным способом вино со странным названием «Кукур», и терпкий винный запах заполнял весь двор. Бочки с вином здесь же закупоривались и отправлялись на

выдержку в погреба того дома, в котором мы жили. Но здесь же можно было купить бочонок свежего виноградного сока и пить его кружками.

Это винодельное предприятие возглавлял сын прежнего владельца этого огромного дома, расположенного прямо в центре города на широком Азовском проспекте. Он очень активно и успешно продолжал дело своего отца, тогда еще действовала ленинская политика НЭПа.

Рыбные рынки и лавки были буквально завалены всевозможными сортами соленой, копченой, свежей трепыхающейся рыбой: судаки, чебаки, бычки. Свежую рыбу можно было покупать ведрами, полтинник за ведро. Как бусы, нанизанные на ниточку, висели гирлянды золотистой копченой рыбешки, копченые килечки.

А больше всего здесь было людей. Бердянск – это курортный город. Чудесный песчаный пляж разделялся на мужской и женский. Спустившись с лесенки вниз, мужчины шли направо, женщины налево. Соляные озера, грязевые лечебные ванны и знаменитый целебный виноград «Березка» – сочный, душистый, который врачи рекомендовали съедать по два-три фунта в день, он лежал на тарелках возле каждой женщины на пляже.

Вечерами в городском саду гремела музыка, благоухали цветы и шло веселое гуляние. Таким я помню Бердянск.

Так всегда было и будет!

Цены были баснословно низкие. 8 копеек фунт винограда, 12 копеек фунт колбасы, 3 копейки фунт хлеба. На фоне всего этого изобилия низкие зарплаты вызывали раздражение, недовольство у некоторой части служащих и рабочих.

– Боролись, кровь проливали, буржуев били, рабочему классу говорили, что жить будет лучше. А где же это лучше? Получку принес домой, а через неделю семья на голодный паек села. Опять буржуи, нэпманы живут, вон сколько их понаехало, обжираются, а мы как раньше, так и теперь голодаем. Чего уж там говорить, раз у них деньги, то и власть у них – так оно было всегда, так и будет!

Но в эти годы прилагались *огромные усилия* и предпринимались всевозможные меры для улучшения и облегчения жизни рабочих и крестьян. И введение новой экономической политики было одним из мудрых шагов, предпринятых Лениным для быстрейшего восстановления разрушенного народного хозяйства, главным образом сельского.

Он был одним из тех, кто постарался бы найти наиболее безболезненный путь к осуществлению своих, может быть утопических, идей, а может быть, даже и отказался бы от некоторых из них, как от военного коммунизма, понимая, что народ не готов. Но в одном я глубоко уверена: он *ничего* не сделал бы во *вред народу,* у него было достаточно здравого смысла, мудрости и, главное, чувства ответственности перед народом, все, что произошло, было *сделано для блага народа,* и он отказался бы от некоторых своих идей, если бы понял, что они несвоевременны, неосуществимы или просто трудно осуществимы. И поэтому, поживи Ленин еще лет 10, наша жизнь улучшилась бы во много, много раз.

При Ленине было время, когда он старался не обострять, а наоборот *смягчить* так называемую *классовую борьбу* со многими слоями общества.

Ведь кроме меньшевиков, многие другие оппозиционные группы готовы были постепенно начать принимать участие в общей работе (т. к. все они тем или иным путем стремились улучшить жизнь населения) в надежде, что со временем все образуется и все найдут общий язык. И я глубоко верю в то, что это так и было бы, если бы не сталинская *безумная* политика «обострения через 10–12 и 20 лет классовой борьбы».

Сколько людей во время гражданской войны, независимо от классовой принадлежности, перешли на сторону Советов и активно всю гражданскую войну воевали и погибали за

народную советскую власть! И так же активно они продолжали работать при советской власти до тех пор, пока Сталин не стал настойчиво и упорно ликвидировать их после стольких уже лет существования советской власти. Почему? Почему через 10–12 и 20 лет после революции, при окрепшей уже советской системе, классовая борьба при Сталине вдруг стала *обостряться,* вместо того чтобы *затухать?*

Ведь тех классов эксплуататоров-капиталистов-кровопийц, которые за счет голодающего рабочего класса богатели, жирели, о которых до революции писал не только Карл Маркс, а писали также все русские писатели, по существу, после гражданской войны уже больше не существовало. Вся промышленность была национализирована, все помещики разбежались, их земля была передана крестьянам или совхозам, и было чувство, что все работают для блага страны.

И если кто-нибудь из них смог «разбогатеть», то есть стать зажиточным, благодаря своему *трудолюбию,* а не за счет эксплуатации тех, кто умирал от голода, то таких людей надо было не наказывать, а поощрять, ведь их труд и результаты их трудолюбия помогали крепнуть нашей родине. По существу, так и было до начала *сталинской коллективизации.* Именно, подчеркиваю, до сталинской коллективизации.

Ведь если бы кто-либо каким-то нечестным образом сумел прорваться вперед, и это принесло бы не пользу, а вред нашей стране, в нашей самой *гуманной и справедливой* стране было много гуманных способов поставить их на место.

Религия дружбе не помеха

У нас в школах, где я училась, не было чувства антагонизма или неприязни друг к другу из-за классовых соображений. В одной школе с нами училась Наташа, дочь священника, и мы все крепко дружили с ней. В другой школе в другом городе мы так же все дружили с сыном священника Виталием.

А самой близкой моей подругой была Мария – дочь раввина, ведь мы, дети, уже все жили и росли при советской власти, в новое время, и не чувствовали никакой неприязни друг к другу, а тех классов, с которыми боролись наши родные до революции, уже не существовало. Мы, дети, были *умнее и мудрее* взрослых.

Церкви и синагоги до смерти Ленина почти все тоже были открыты. Хотя он всегда твердо утверждал, что «религия это опиум для народа», но верил, что к этому просвещенный народ должен прийти и придет сам и что нельзя заставлять силой верить или не верить, поэтому Ленин и считал что надо «учиться, учиться и учиться».

Ему так хотелось как можно скорее увидеть Россию грамотной и образованной не хуже, а лучше всякой Европы! Ведь церкви тоже начали усиленно громить и разрушать только после смерти Ленина.

Я ведь до сих пор помню, как торжественно справляли Пасху, пекли вкусные куличи, красили яйца, готовили невероятное количество вкусных блюд, как интересно и забавно справляли Рождество и другие праздники, как вместо хлеба угощали меня мацой и вкусными изделиями из мацы мои пионерские подруги. Ведь все это могло существовать и существовало почти до 1927–1928 годов. Все люди работали с огромным энтузиазмом, желая как можно скорее сделать жизнь богаче и зажиточней во всей стране.

Самые лучшие годы НЭПа

Новая экономическая политика дала возможность крепко встать на ноги советской власти. Она *укрепляла союз* рабочих и крестьян и помогала развивать социалистический сек-

тор народного хозяйства. Новая экономическая политика оживила политическую жизнь в селах, крестьянство начало принимать более активное участие в общественной деятельности страны, тем самым НЭП оказывал огромное благотворное влияние на всю экономику страны. Так вещали со всех трибун.

И прав был Ленин, который сказал, что это *не кратковременное* мероприятие, а будет продолжаться до тех пор, пока мы сами не научимся торговать и управлять государством. Именно так, не дословно, но смысл, мне кажется, был такой.

И опыт показал, что для успеха этого перехода необходима не штурмовая атака, а *длительный переходный период,* и что нам необходимо было быстро изменить методы своей работы применительно к НЭПу, научиться хозяйствовать новыми методами. «Учитесь культурно торговать» – таков был лозунг В. И. Ленина. Собственного опыта в этой области у нас не было, и негде было его заимствовать, да и к вопросам торговли было у нас весьма пренебрежительное отношение.

Первая мировая война, Гражданская война, массовая эвакуация и гибель миллионов лучших из лучших обескровили промышленность и хозяйство. Ведь самая страшная трагедия войн состоит именно в том, что в войну погибают самые лучшие слои общества, и это не единицы, а миллионы.

И партия в те годы в большинстве своем состояла, чего греха таить, не из интеллигенции, а в основном из *неграмотных или малограмотных* людей. «Принимать в партию в первую очередь людей из *рабочих и крестьянской бедноты* правильно с политической точки зрения, но хорошо было бы иметь в партии и самых высококвалифицированных, самых образованных людей, – говорили многие умные люди. – *И не делаем ли мы ошибку,* выталкивая их на второй план?» Ведь в результате этой недальновидной политики на руководящие посты выдвигались малоопытные, малообразованные члены партии. И Ленин очень хорошо понимал, чего можно было ожидать от них, и поэтому выдвинул лозунг «Надо учиться, учиться и еще раз учиться». Ленин *ценил образованных* людей, потому что сам был высокообразованный человек, *а малограмотный* Сталин их ненавидел и боялся.

Еще при жизни В. И. Ленина в декабре 1923 г. было принято постановление «Об очередных задачах в экономической политике», в котором намечалось проведение широких мероприятий по обеспечению сбыта и *снижению цен* на промышленные товары, а также по борьбе с безработицей.

В те годы существовала еще большая безработица. Еще не знали, как и куда пристроить людей. Многих надо было чему-то научить, дать им возможность приобрести какую-либо специальность. Например, многие девушки, работавшие днем домработницами, вечером ходили на разные курсы заниматься, стараясь приобрести какую-нибудь более полезную специальность и более интересную работу. И я должна сказать, многие из них добились больших успехов.

И все это было еще в те годы, когда наша страна, в условиях неблагоприятной международной обстановки, испытывала самые большие трудности в деле восстановления народного хозяйства. Правительства США, Франции, Англии провокационными актами все время усиленно старались вовлечь советскую страну в войну или в какую-нибудь военную авантюру.

Керзон в мае 1923 г. заявил Советскому правительству ультиматум, угрожая новой антисоветской интервенцией. В Дарданеллы вошел английский военный флот. Ультиматум Керзона явился сигналом для усиления антисоветской деятельности и начала кампании клеветы и шантажа против Советского государства.

Смерть Ленина

До сих пор мне кажется, что та зима была нестерпимо холодная. Моя одежда была не по сезону легкая, обувь и того хуже, купить что-либо потеплей, по-видимому, еще не было возможности. Хотя отец занимал ответственные посты, жили мы очень скромно. Когда я прибегала в школу, то первым делом бежала к печке подсушить обувь и согреться.

Январь, трескучий мороз. В один из таких дней, как сейчас помню, вошел очень расстроенный отец, и мама спрашивала:

– Неужели это правда? Как, когда это случилось? Ведь это ужасно, как же дальше? – Она спрашивала так, как будто ждала отрицательного ответа.

Отец ответил:

– Это страшно, но это правда. Только что начали на ноги становится, вокруг еще хаос, разруха – и такая ужасная потеря. *Нет такого человека,* который смог бы заменить его, нет. Начнется грызня, склоки, пойдут доказывать, кто прав, кто виноват. Ленин не стеснялся сказать: мы ошибаемся, нам надо действовать по-другому. Ведь сколько было и сколько сейчас еще есть жалоб и обид на НЭП. Но ведь он нас вывозит, и по-другому нельзя, пока мы сами не научимся разумно хозяйничать, как всегда утверждал Ленин.

Отец рассказывал, что разъезжая по районам, он видел, что там творится. «Многие работники простую справку написать еще не умеют. Нам ведь досталась огромная неграмотная страна, многие еще пальцем расписываются. Надо начинать с ликвидации неграмотности среди взрослого населения, найти просто грамотного секретаря – проблема».

Он почти всю ночь не мог уснуть. И, как ни странно, наблюдая за ним, как тяжело он переживал, даже я, не имея еще толком никакого понятия, *какую силу* представлял Ленин, почувствовала, что произошла какая-то *страшная катастрофа.*

В день похорон Ильича со всех сторон на площадь к центру города шли люди с плакатами и портретами Ленина, окаймленными черным бархатом, и красными знаменами с черными бантами. Я шла со школой.

На трибуне на перекрестке теперь Ленинского и Азовского проспектов стоял отец, и я из толпы чувствовала, как он нервничает. Он говорил недолго, с глубокой скорбью, и быстро сошел с трибуны. За ним выступали многие, все призывали объединиться, сплотиться вокруг партии большевиков для продолжения строительства новой жизни. «Ильич не умер! Ильич с нами!» Раздались длинные траурные гудки, военный салют, продолжительное молчание, и все тихо и грустно разошлись, как с кладбища.

Дело Ленина

Отец после смерти Ленина *еще больше работал,* он как будто взвалил на себя десять дополнительных обязанностей. Как ему хотелось, чтобы все было так, как он мечтал. Мы еще реже его видели.

В школе появились молодые энергичные ребята. Собрали всех учеников, долго говорили о Ленине и о том, что сделал Ленин для нас, и под конец сказали, что все могут вступить в организацию юных ленинцев. Но честь носить имя юного ленинца должен каждый оправдать в учебе, в работе, и те лучшие, кто оправдает это звание, будут переведены в комсомол и затем в партию.

Я была одной из первых, вступивших в ряды юных ленинцев. С каким восторгом я летела в этот день домой, чтобы сообщить об этом родителям! Я шла, не разбирая дороги, не чувствуя озябших ног в ботиночках, полных снега.

– Что с тобой? – увидев мою ликующую физиономию, спросила мама.

– Я сегодня такая счастливая, я вступила в ряды юных ленинцев. Ты понимаешь, я хочу быть такая же честная, смелая и решительная как вы с папой. Потом я вступлю в комсомол и в партию и буду всю жизнь работать так, чтобы все жили хорошо и все были счастливы.

Мама сидела, зажав ладони между колен, и слушала меня внимательно и грустно.

Я старалась передать ей то, что я чувствовала, ведь так много еще предстояло нам сделать, ведь, думала я, Россия только освободилась от капиталистов и помещиков, а во всем мире они еще существуют. Нам сказали, что Ленин стремился освободить весь мир от поработителей, но он умер, и теперь это должны сделать мы. А для этого нам нужно много и хорошо учиться и работать.

Нам читали письма из многих стран, писали дети из Африки, и даже из Англии дети углекопов писали, как тяжело они работают в шахтах, как хотят учиться и не могут. И что все они надеялись, что придет Ленин и освободит их тоже. Все это я выпалила без передышки.

– Мама, ты что, плачешь?

– Нет, нет, родная, мне просто кажется, мы проглядели ваше детство, нам было некогда.

Пришел отец, и я слышала, как мама ему говорила:

– Я думала, Ваня, что мы сами создадим для детей жизнь со всеми радостями детства, не успели… Ты бы видел, как Нина мечтает встать с нами в одни ряды и бороться за счастье других детей, а ведь сама не знает, что такое детство. Проворонили мы их детство.

– Не грусти, – успокоил папа. – Хорошие у нас дети растут.

И я почувствовала прикосновение его пушистых усов у себя на лбу.

Вскоре я стала заместителем вожатого всего школьного отряда. Новое назначение наполнило меня чувством гордости и сознанием большой ответственности.

Мы организовали пионерский клуб. Три раза в неделю проводили пионерские сборы. Создавали интересные и разнообразные программы самодеятельности: декламации, пения.

До сих пор помню те песни, которые учил нас петь наш учитель музыки. Был у нас также драмкружок, в котором самой бездарной артисткой была я, т. к. никогда не умела «перевоплощаться».

Кружок по изучению языка эсперанто, он стал очень модным. Считалось, что при помощи этого языка мы сможем общаться с детьми всего мира.

Ветер странствий

Откровенно говоря, желание поездить по всему миру, повидать все страны мира у меня было очень большое, я очень любила географию, книги великих путешественников были моими настольными книгами, я их зачитывала до дыр, и все страны мира мне казались очень заманчивыми. Под влиянием этих книг я мечтала стать капитаном, летчиком, покорить морские и воздушные пространства, совершить кругосветное путешествие. Появилась какая-то неугасимая жажда знания, мне казалось, что теперь все возможно, все доступно.

В это время в Бердянск приходили иностранные торговые пароходы из многих стран, и нас, школьников, даже водили к ним на экскурсии. Мы приносили им цветы, они дарили нам красивые фотографии своих стран. Все было как-то проще. По городу ходили, гуляли иностранные матросы.

Мои родители снова переехали до окончания моего учебного года. Человек, носивший партбилет, не принадлежал себе и совершенно не имел никакой возможности распоряжаться своей судьбой. Это был стиль партийной работы в первые годы существования советской власти. Не считаясь ни с чем, коммунистов переводили с места на место для налаживания работы на наиболее важных хозяйственных и промышленных предприятиях, где часто вовсе не было членов партии.

Я осталась у Веры Петровны Богданович, очень полной дамы. Когда она подходила к пляжу, курортники громким шепотом говорили:

– Сейчас море затопит пляж.

Она была замужем за купцом из Болгарии, торговавшим свежими и сухими фруктами, жила она прямо на проспекте Ленина, это был самый шумный бульвар. Театры, рестораны, фруктовые и кондитерские магазины, здесь всю ночь жизнь кипела ключом. В это время я уже научилась быть «независимой», старалась вести себя так, чтобы меня никто не замечал, никому не мешать, никого не беспокоить. Это очень мне помогло в мои бездомные студенческие годы. Я очень рано стала взрослой, поэтому и друзья мои были намного старше меня, с моими ровесниками мне было скучно и не о чем говорить.

Наш Фордзон

14-й съезд партии, состоявшийся 18–31 декабря 1925 г., вошел в историю как съезд индустриализации страны. И с 1926 г. СССР вступил в период индустриализации страны, несмотря на очень сложную и напряженную международную обстановку. Членов партии, как я уже сказала, тогда еще была горстка, 643 000 на весь Советский Союз. Отец *работал на износ*. Старые соратники все более и более настойчиво старались перетащить его в Харьков, чему отец всеми силами сопротивлялся.

Они просили его освежить своим энтузиазмом ту «протухающую атмосферу», которая уже начинала создаваться.

– Нам такие, как ты, работники позарез нужны. Здесь у тебя вся Украина будет как на ладони, – обещали они ему.

Отец на это отвечал:

– И так же, как и вы, потеряю связь с народом. Нет, друзья, хоть ваши предложения очень заманчивы, но я должен быть там, где максимум пользы принесу. Народ это та почва, откуда я черпаю силы.

Один раз даже поехал, пробыл там несколько месяцев и буквально сбежал.

– Отправьте меня на завод, – взмолился. – Нам нужно поднимать сельское хозяйство, деревне нужны трактора, молотилки, комбайны, а не инструкции, как сеять и пахать на коровах.

И отца отправили в Большой Токмак, на завод «Красный Прогресс», который в то время не то осваивал, не то пытался изготовить трактор по образцу «Фордзона». СССР тогда еще своих тракторов не имел, а для закупок «Фордзонов» из США не было достаточно валюты.

Мы переехали в Большой Токмак. И очень скоро на этом заводе был выпущен первый, весьма примитивный, по-видимому, такой же примитивный, как и первый автомобиль у Форда, трактор по модели и под названием «Фордзон». Все равно, это было неповторимое событие. Это был огромный праздник не только на заводе, но и во всем городе. Он долго, увешанный красными флажками, тяжело и важно пыхтя, двигался по улицам города, оставляя за собой елочный след.

За ним шли толпы ликующих людей, и под громкие крики «ура» он еще более важно выехал из города в поле, где должен был вспахать 26 десятин земли.

Здесь же присутствовали представители из Харькова. Был даже представитель американской фирмы «Форд». И в конце проведенного испытания было установлено, даже по мнению иностранных представителей, что по своим качествам (по глубине вспашки и т. д.) он не только не уступает американскому аналогу, но даже превосходит его.

Вечером был устроен «банкет», на котором все пили, пели и произносили красивые тосты за советскую власть, за смычку города с деревней и рабочих с крестьянами. Присутствовавшие делегаты от крестьян, радостно обнимая рабочих, твердили:

– Если вы нам поможете, мы вас засыплем зерном.

Глядя на этот праздник, я тоже радовалась и гордилась. Я знала, сколько сомнений, тревог, бессонных ночей, сверхурочной работы было отдано за освоение этого примитивного трактора. В те тяжелые годы трудно было доставать материалы, трудно было с деньгами, и все-таки, несмотря ни на что, трактор освоили, он пошел, и глубина вспашки хорошая, и скорость больше, чем у «Форда». Как же было не гордиться? Но почему-то дальше этого дело не двинулось, и тракторного завода здесь не построили, а построили его в Харькове. Отца перевели в Кривой Рог.

Повоевали – пора и пожить!

Это были самые благотворные годы НЭПа. Но в это же самое время многие члены партии быстро выбросили вон из головы великие идеи и решили:

– Хватит, повоевали, а теперь пора пожить.

И одни стали брать взятки. Другие растрачивать государственные средства на себя, третьи, пользуясь своим положением, партбилетом и заслугами, устраивать свои личные дела.

Была и четвертая категория, к ним принадлежали такие бессребреники, как мой отец. Эти люди были как бы не от мира сего, они честно, добросовестно, не покладая рук работали и приносили домой свой партмаксимум, которого еле-еле хватало на скудную жизнь.

Отец был болезненно против всяких *привилегий,* предоставляемых по занимаемой должности или по настоящим или прошлым заслугам, от кого бы то ни было, от частного лица или от государства, ему казалось все *подкупом и взяткой.*

Поэтому многие считали, что годы НЭПа, сыграв огромную положительную роль в деле экономического укрепления, восстановления и развития народного хозяйства страны, оказали также *пагубное* влияние на дисциплину и мораль в партии.

Я очень хорошо помню период НЭПа, когда на рынках рядами стояли корзины, полные помидоров, кабачков, вишен, абрикосов и, боже мой, каких только там не было овощей и фруктов! Магазины ломились от колбас, рыбы, хлеба, пирожных. За три рубля заворачивали полную подводу арбузов и дынь прямо во двор. Помню, как за 33 копейки купили три метра шелковистого батиста и сшили мне платье.

Магазины ломились от товаров. Рестораны, кондитерские были полны. Овощи и фрукты покупали не фунтами и не килограммами, а целыми ведрами, корзинами или подводами. Отовсюду доносились вкусные запахи, все варили варенье, повидло. Мы, пионеры, все лето проводили в лагерях, в то время еще не было великолепно оборудованных лагерей, как впоследствии, но и в лесу, на берегу реки в палатках было неплохо. С нами были комсомольские вожатые, замечательные преподаватели, они водили нас на экскурсии, учили плавать, а вечерами у костра читали нам интересные лекции.

И, наглотавшись досыта кислорода, мы все весело, с песнями возвращались к началу учебного года.

Ах, картошка, объеденье, пионеров идеал.
Тот не знает наслажденья, кто картошку не едал.

Нас, школьников, также возили на экскурсии в Донбасс. Там нас спускали в угольные и соляные шахты, водили на сахарные заводы, на предприятия по изготовлению фарфоровых изделий и по многим другим предприятиям.

А в ботаническом саду в городе Славянске мы видели потрясающие розы, от сногсшибательно белых до черных. Нас повсюду сопровождали учителя, вожатые из старших классов. На такие поездки школьникам предоставлялся иногда целый вагон в поезде.

Останавливались мы в закрытых на лето школах. Кто платил за нашу учебу, за наши прогулки, никто не спрашивал, всем нам казалось, что это все так и должно быть, так и надо. И это были не какие-то специальные школы, а обыкновенные городские, для всех, и это было всего-то через 5–6 лет после окончания гражданской войны.

Средство от малярии

В разгар лета я вдруг умудрилась заболеть жуткой малярией, никогда не забуду эту страшную болезнь. Мне становилось холодно, меня знобило, я начинала дрожать так и до такой степени, что зуб на зуб не попадал. Меня укрывали несколькими одеялами, но я не могла согреться, это длилось, мне казалось, бесконечно долго.

После окончания приступа я начинала обливаться потом, да так, что постельное белье приходилось менять несколько раз, а затем наступала такая жажда, что мне казалось, я легко могла выпить ведро воды. От хинина у меня разболелись уши, в голове стоял непрерывный шум, и спасло меня от этой страшной болезни, не могу об этом не вспомнить, какое-то первобытное бабушкино средство.

Кто-то сказал маме, чтобы она разбила сырое яйцо, сняла тоненькую пленку внутри яичной скорлупы, обернула ее плотно вокруг пальца и крепко завязала. Мама немедленно все выполнила.

Приступ у меня начинался, как по часам, ровно в пять часов вечера и продолжался до полуночи. В этот раз после приступа я сразу крепко уснула и проснулась от нестерпимой боли в пальце, я не просила, а умоляла снять узел на руке. Оказывается эта пленка, засохнув от невыносимо высокой температуры, врезалась мне в палец так крепко, что палец как будто высох.

Но самое удивительное было то, что после этого вечера приступы малярии у меня сразу прекратились, и я стала поправляться.

Я в комсомоле

В этом году пять лучших пионеров в первомайские праздники, торжественно переводили в комсомол. В эту пятерку попала и я. Я была на «седьмом небе» от радости.

На сцене стоял стол, накрытый красным сукном, вокруг цветы, два красных знамени скрещивались в глубине сцены. В официальной части торжественного заседания говорилось о нашем единственном пролетарском государстве, где мы можем совершенно свободно праздновать 1-е Мая – День солидарности рабочих всего мира, не боясь гонений полиции. В буржуазных государствах за участие в первомайских торжествах демонстрантов разгоняют дубинками, поэтому все взоры международного пролетариата обращены сюда, к нам, счастливым и свободным.

Что такое комсомол? Комсомол – организация Коммунистического интернационала молодежи (сокращенно КИМ), и каждый вступающий в комсомол, признает программу и устав, выполняет его решения и активно участвует в его деятельности и борьбе.

Комсомолец должен бороться с шовинизмом и национальной рознью.

Комсомолец должен свое учение связывать с участием в борьбе всех трудящихся против эксплуататоров.

Эти основные положения устава и программы комсомола и многое другое каждый комсомолец должен знать в течение всех лет пребывания в комсомоле.

Зачитали приветственную телеграмму, полученную от германских комсомольцев, в которой говорилось, что СССР – первое отечество всех рабочих, СССР – ударная бригада пролетариата всех стран и что в СССР нет помещиков и капиталистов. Что в СССР диктатура пролетариата и что колоссальная энергия пролетарской молодежи должна быть включена в революционные силы борьбы против угрозы империалистической войны. И что КИМ – это кузница победы, и, наконец, что комсомольская молодежь Германии будет защищать революционные традиции КИМа.

Над всеми этими установками стоял лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Комсомолец должен по первому зову партии встать в передовые ряды международной пролетарской армии.

Пролетариат – авангард всего трудящегося населения.

ВКП(б) – авангард пролетариата.

Секретарь комсомольской ячейки, в синей косоворотке, причесанный «а-ля Карл Маркс» – тогда это было очень модно – был в президиуме. Свое выступление он закончил словами:

– Мы можем гордиться, что в наши ряды войдут сегодня хорошо проверенные товарищи, испытанные на работе, в быту и в учебе.

И вся наша пятерка вышла на сцену под марш оркестра. Я шла впереди всех, мне, как самой молодой из всей пятерки, тоже надлежало что-то сказать, дать обещание, что мы до конца своей жизни будем верны заветам Ленина, что я и выполнила с огромным энтузиазмом. Я чувствовала и видела, что все мои друзья испытывали такой же восторг, как и я.

– Вы сегодня вступили в ряды комсомола, до конца ли вы обдумали ваш поступок? Готовы ли вы вместе с комсомолом жить и бороться, а если потребуется, то отдать и жизни за его идеи?

Конечно, мы были готовы, все было давно передумано в счастливые бессонные ночи.

– Будьте готовы! – закончил секретарь свою речь, высоко подняв над головой руку с пятью тесно сжатыми вместе пальцами.

Мы также, высоко вскинув вверх руку, твердо ответили:

– Всегда готовы!

У нас, пионеров, это значило, что в любое время мы готовы защищать пролетарскую революцию в любой части света. Пять сжатых вместе пальцев означали пять частей света, спаянных одними интересами. Выше головы – что интересы пролетарской революции во всем мире выше личных интересов, и «Всегда готов!» значило, что каждый пионер всегда готов пожертвовать собой во имя идеи мировой революции. Так я растолковывала этот наш пионерский салют. Теперь мне казалось, я не просто я, а что я принадлежу каким-то образом всей стране и несу какую-то ответственность за все, за все, что происходит и будет происходить в нашей стране. Оркестр заиграл «Интернационал». Все встали, и зал огласился мощными звуками молодых голосов. Мы стояли на сцене, вытянувшись в струнку. Это был один из самых торжественных моментов.

Я комсомолка – это звучало гордо. Теперь что бы я ни делала, я всегда должна была думать, хорошо ли это, достойно ли это высокого звания комсомольца.

С кем я поспешила поделиться это радостью? С Зоей, с подругой детства в моей обожаемой Македоновке. И со всеми общими друзьями, с которыми я любила проводить каждое лето. До чего же это была талантливая молодежь!

Гаврик – художник, он любил писать море. В Харькове, на выставке в художественной академии его картины привлекли такое внимание, что о нем говорили, как о новом будущем Айвазовском, ему было 16 лет.

Костя был среди нас писатель, он писал пьесы, которые мы тут же разыгрывали. Писал удивительные рассказы из повседневных наших событий, даже стихи.

Зоя была потрясающий математик. Когда она училась в 5-м классе, преподаватель иногда просил ее проверять работы по математике 7-го класса ее школы. Из всей этой группы я была самая бездарная, мне нравилось все и ничего в отдельности.

У молоканского проповедника

В этом году мои родители снова решили не отрывать меня от занятий в школе, а дать мне возможность спокойно окончить учебный год. И для этого оставили меня не где-нибудь, не просто у кого-нибудь, а в семье молоканского проповедника. Я до сих пор вспоминаю с удовольствием зиму, проведенную в этой семье. Как видите, в те годы даже у таких убежденных коммунистов, как мой отец, не было никаких предубеждений против глубоко верующих людей, даже каких-либо сектантов, а тот, у кого родители меня оставили, был не просто сектант, а глава молоканской секты. В те годы важнее всего было не то, во что человек верит, а главное было, как и в любом государстве, чтобы его деятельность не причиняла вред и не вела к борьбе против советской власти.

Первый раз в жизни я услышала, что кроме православной, католической, иудейской религий на свете существуют еще какие-то религиозные секты: баптисты, духоборы, скакуны, молокане и всякие другие. А здесь их было много, и я понятия не имела, как они существовали – легально или полулегально, только у тех, у кого я жила, все было нормально.

Проповедник, Николай Степанович, занимался столярным мастерством, часть большого краснокирпичного дома занимала его мастерская. У него был даже подмастерье, молодой парень лет 18-ти, который изготавливал всякие интересные вещи для домашнего употребления, а также вырезал удивительные фигурки из дерева, которые дарил нам. Николай Степанович по воскресениям читал проповеди в большом доме с огромным садом через дорогу от нас. Там же выступали приезжавшие в то время из Канады проповедники, которые после проповедей приходили к нам обедать. Обед в этом доме всегда в воскресенье состоял из очень вкусной домашней куриной лапши.

У них было три дочери, со старшей, Надей, мы вместе учились. И я даже в одно воскресенье пошла с ней посмотреть и послушать проповедь для молодежи в том же здании напротив. И была удивлена. Большая аудитория, чистые пустые стены, никаких икон, картин, плакатов, ничего, только скамейки и небольшая трибуна. Прослушали лекцию для молодежи приехавшего из Канады проповедника, выступавшего в обыкновенном костюме, и разошлись. В те годы даже многие молокане, эмигрировавшие в царское время в Америку, возбудили ходатайство о возвращении их СССР.

Я должна признаться, что мне очень понравилась не лекция, суть которой я даже не поняла, а сама обстановка и простота отношений в общине. Православная религия с ее вычурной торжественностью мне всегда казалась очень театральной.

Надя тайком от родителей все-таки вступила в комсомол, и за ней в это время уже ухаживал наш вожатый. Тогда я впервые начала чувствовать, что религия делит людей на желанных и нежеланных.

Что люди делятся на бедных и богатых, на эксплуататоров и эксплуатируемых, это я понимала. Но Бог – он же один-единственный для всех, абсолютно всех людей на свете, так какое право имеют люди делить его по своему усмотрению. Как люди могут сказать: мой Бог лучше, а твой хуже. Разве может быть один Бог хороший, а другой плохой?

У меня никогда не было никакого предубеждения против какой бы то ни было религии. Я только считала, что у религиозных людей, независимо от того, кто они – мусульмане, христиане, иудеи – или принадлежат к каким-то другим религиозным конфессиям, у всех у них должна быть какая-то общая любовь друг к другу. Ведь все они любили и любят одного и того же Бога, независимо от того, к какой религии они принадлежат и как бы по разному ни

молились они этому Богу. А разные религии – это что-то такое, как будто все читают одну и ту же книжку, и каждый старается растолковать ее по-своему.

Десятая годовщина революции

В ноябре 1927 г. наступил *грандиозный* праздник: Первое десятилетие Великой Октябрьской социалистической революции. Шутка ли – в Москву съехались представители со всего мира.

Ведь столько событий произошло в России за такое короткое время: начиная с 1914 года – Первая мировая война, свержение в 1917-м году монархии – 300-летнего Дома Романовых, появилось Временное правительство. В 1917-м году произошла Октябрьская революция, рухнуло Временное правительство. Затем последовала разрушительная Гражданская война, стихийный голод 1921–1922 гг. и жуткая военная и послевоенная неразбериха так называемого периода военного коммунизма, переход к НЭПу, восстановления народного хозяйства и начало индустриализации… А прошло-то после Октябрьской революции и окончания гражданской войны в 1920-м году всего-то даже меньше 10-ти лет.

И все, что досталось после всех этих событий теперь уже советскому народу при новой советской власти, – это разрушенные дотла пустые заводы, без окон и без дверей, с разбитым заржавевшим оборудованием, затопленные шахты и рудники, развалившийся ж-д. транспорт и тяжелая промышленность, вся катастрофически бездействовавшая из-за отсутствия топлива, угля, нефти, сырья и при почти полном отсутствии квалифицированной рабочей силы.

Народное и сельское хозяйство после империалистической и гражданской войн, иностранной военной интервенции, неурожая и голода 1921–1922 гг. было в еще худшем положении, чем промышленность, и находилось на нищенском уровне.

Кроме погибших в войне людей, погибли и лошади, вся тягловая рабочая сила, и при полном отсутствии сельскохозяйственного инвентаря поднимать сельское хозяйство надо было самым тяжелым примитивным способом *вручную и тоже почти с нуля.*

Ведь основные средства передвижения в те годы в армии тоже были лошади, и их мобилизовали на фронт так же, как людей на военную службу. И я даже помню, как сокрушались крестьяне, которые сегодня пахали, убирали хлеб, а завтра не знали, как собрать урожай или молотить хлеб. Лошадей забирали, и белые, и красные, и деникинцы, и буденовцы. Иногда, в лучшем случае, оставляли своих полуиздыхающих кляч, которые с трудом двигали ногами и вызывали у крестьян такую печаль и тревогу, как после похорон. Ведь никакой механизации в те годы не существовало, а на себе с поля урожай не привезешь.

Поэтому необходимо было как можно скорее приступить к подготовке таких кадров, которые были бы способны не только поднять сельское хозяйство, но и приступить к капитальному восстановлению и строительству тяжелой промышленности. Для чего требовались огромные ресурсы, которые необходимо было найти внутри страны. И это все в условиях всеобщей неграмотности.

Из 126-миллионного населения до войны четыре пятых были неграмотны, и та одна пятая часть грамотных (для которой учеба была доступна), была той частью населения, которая в большинстве своем либо погибла во время войны, либо эвакуировалась за границу. Недаром же белая эмиграция *всю жизнь* была твердо убеждена в том, что с ее исчезновением в России, а теперь в Советском Союзе вообще грамотных не осталось.

Но эти кадры и средства для их подготовки при советской власти с трудом, но нашлись, нашлись, благодаря тому, что основные отрасли народного хозяйства были сосредоточены в руках пролетарского государства, и не только без всякой экономической помощи извне, но даже при упорном препятствовании, отовсюду.

В 1927 году консервативное правительство Англии прервало дипломатические отношения с Советским Союзом. И только в 1929 году, осознав ущерб, нанесенный *ей же самой* прекращением нормальных торговых отношений с СССР, вынуждено было вновь восстановить дипломатические, хотя провокации со стороны Англии никогда не прекращались и даже продолжались с новой силой.

Английские империалисты, да и не только они, а многие другие страны, через своих агентов организовывали антисоветские провокации и вели усиленную борьбу против Советского Союза. В 1927 году английским диверсантом была брошена бомба в партийный клуб в Ленинграде, где было ранено 30 человек. В Варшаве был убит советский полпред Войков. И масса других провокационных действий была направлена на создание единого антисоветского фронта капиталистических государств против Советского Союза.

В этих условиях и проходило торжественное празднование десятилетия Великой Октябрьской революции.

И уже тогда, да по существу и тогда, и до, и после, и всегда чувствовалось, что у Советского Союза никакой передышки в отношении его внешней политики никогда не было и не будет.

Например, Китайско-Восточную железную дорогу – КВЖД, построенную Россией в 1897–1903 гг. и находившуюся с 1924 г. под совместным управлением СССР и Китая, под давлением иностранных империалистов и огромной русской белогвардейской колонии, в то время хозяйничавшей в северо-восточных провинциях Китая и совершавшей систематические провокационные нападения на советские границы, – в 1929 г. захватили китайские империалисты.

Поэтому в августе 1929 г. и была создана *Особая Дальневосточная армия* против нарушителей советских границ, и только после разгрома китайских войск в декабре 1929 г. было подписано соглашение о ликвидации конфликта на КВЖД.

Советское правительство все эти годы постоянно и безуспешно ставило вопрос перед Лигой наций о полном или частичном разоружении всех государств.

В немецкой слободе

Как только в конце двадцатых годов начали закрываться иностранные концессии, отца назначили директором фабрики сухого молока (единственной в то время не только на Украине, но во всем Советском Союзе).

Эта бывшая немецкая концессия находилась в немецкой колонии под названием Валдорф в 12 км от города Молочанска, в окружении целого ряда богатых немецких колоний. Добротные усадьбы Валдорфа на высоком берегу реки Молочанск были разделены вымощенной прямой, как стрела, улицей. Мы сняли квартиру в огромном немецком особняке, блестевшем чистотой. Из окон нашей квартиры и с крыльца открывался великолепный вид другого низкого берега реки Молочанск, вдоль которого расположилась красивая, типично украинская гоголевская деревня, с маленькими домиками под соломенными крышами, как будто игрушечными по сравнению с этими немецкими особняками.

На этой фабрике сухого молока раньше работали в основном одни только немцы. Но как только эта концессия перешла государству, все немцы уехали в Германию, и здесь остался только один инженер, высокий, костлявый немец, о нем говорили, что он якобы один знает секрет производства сухого молока такого замечательного качества. Свой секрет он очень хранил и за это получал очень хорошее вознаграждение.

Через несколько дней после того, как я приехала из Мелитополя, отец пригласил меня посмотреть это предприятие.

Фабрика произвела на меня потрясающее впечатление – все оборудование блестело, чистота, как в аптеке.

В последней стадии производственного процесса с огромных зеркально блестящих барабанов медленно спускались в смесители полотнища сухого молока ярко-кремового цвета, как крепдешин, и оттуда молоко расфасовывалось прямо в красивые упаковочные пакеты.

Мы зашли в огромную светлую лабораторию, полную приборов, пробирок, баночек, скляночек, где стояли лаборанты и что-то колдовали. Мне она показалась царством науки. Посреди кабинета главного инженера Карла – так звали этого немца – стоял большой стол, а на нем зеленый лес пивных бутылок из знаменитого пивного завода в городе Молочанске.

– Карош русской пиво, – похваливал Карл, наливая всем в баварские кружки пиво. Я попробовала, первый раз в жизни, и мне оно показалось горьким, как полынь. Ему же, как мне сказали потом рабочие, каждое утро привозили прямо с пивоваренного завода 24 бутылки, а вечером убирали пустую посуду.

Он был по уши влюблен в Эльзу-лаборантку, дочь нашей хозяйки, у которой мы снимали квартиру. Она так же по уши была влюблена в Яшу-еврея, бухгалтера завода, и я невольно была втянута в эту романтическую драму, т. к. Яша и Эльза должны были встречаться тайком от ее родителей.

Не без моей помощи Эльза в конце концов сбежала из дому с Яшей. Брак их оказался очень счастливым, и они очень часто навещали моих родителей уже с детьми.

Секрет фирмы и «Красный дьяволенок»

Карл же проникся ко мне какой-то симпатией и очень активно начал посвящать меня в тайну этого производства. И я, еще ничего не понимая, изо всех сил старалась вникнуть в тайны этого производства.

– Я скоро уету в Германию, и все искаль кафо научить рапотать в лапоратории – народ не поймут. Вам я все расскашу.

Работать на этом заводе я не собиралась, но таким его доверием ко мне я была польщена и была не прочь узнать его секрет. И все, что я узнала от него, я с большим удовольствием передавала молодому, только что прибывшему веселому-превеселому инженеру, у которого, казалось, смех брызжет из всех пор.

Вместе с ним мы нашли помещение, оборудовали клуб для рабочих и молодежи, нашлись музыканты, и часто вечерами мы устраивали танцы «до упаду». Немцы любили танцевать, и с абсолютно бесстрастными лицами притаптывали до дурноты.

К торжественному открытию нашего клуба мы приготовили пьесу «Красный дьяволенок». В этой пьесе была представлена жизнь обюрократившегося партийного работника, который бросил семью, простую деревенскую жену, детей, и собирался жениться на городской. Но в эту семейную драму вмешался молодой шустрый паренек – «красный дьяволенок», который своей находчивостью уладил назревавший семейный конфликт. Этого шустрого мальчишку играла я. До сих пор помню, до чего же бездарной актрисой я была в данном случае.

Наше первое выступление в огромной немецкой колонии Розенталь превзошло все наши ожидания, было таким успешным, что, я думаю, нам могли бы позавидовать даже профессиональные артисты с большими именами. Нас требовали нарасхват все немецкие колонии, а их было здесь немало.

Нас приглашали из дома в дом и с гордостью показывали свое хозяйство. Роскошные кирпичные дома с великолепно ухоженными благоухающими от изобилия цветов и роз парками, все подсобные помещения, сараи, кухни, всюду был безукоризненный порядок и

чистота. Нас угощали, тащили нам ведрами вишни, клубнику и другие фрукты. В наше первое выступление приехали мы в 6 часов вечера, а выступать начали только после 10-ти, когда все вернулись с полевых работ.

А когда почти под утро мы подошли к нашим тачанкам, то ахнули от удивления – они были буквально завалены розами. И такой триумфальный успех мы имели повсюду.

Из этих богатых немецких колоний каждое утро на завод шла вереница подвод с полными бидонами свежего молока. Здесь быстро проверяли молоко на жирность и еще на что-то и отправляли на обработку не обезжиренное, с молока сливки не снимали, т. к. считалось, что чем жирнее молоко, тем оно лучше и вкуснее. Поэтому с сушильного барабана спускались блестящие полотна сухого молока ярко-кремового цвета. Одна чайная ложка этого сухого молока, разведенная в стакане горячей воды, имела вкус настоящего свежего топленого молока, даже с крупинками жира, плавающими наверху.

Лунные прогулки

Но на комсомольские собрания из Валдорфа в Молочанск 12 км мне надо было ходить пешком туда и обратно, и я очень любила эти прогулки. Выходила из дому в 4 часа и приходила задолго до начала собрания, и как только кончалось собрание, я быстро исчезала. Проделывала я этот путь обратно часа за два, в одном месте надо было идти даже мимо кладбища, но часам к 12 ночи я была уже дома. Это продолжалось до тех пор, пока ребята не разнюхали, куда я исчезаю, и начали встречать меня возле кладбища и весело провожать до самого дома и возвращались обратно к себе в город на велосипедах.

В лунные ночи эти прогулки были сказочно красивые. Большую часть пути надо было идти вдоль реки Молочанск. Река не глубокая и не широкая, но чистая, как слеза, и вся заросшая вербами. И у самой воды вдоль берега тянулись украинские села. Ухоженные, чистенькие, беленькие хаты под соломенными крышами, с живописными колодцами с журавлями, утопали в вишневых садиках, а когда весной расцвели деревья, издали казалось, что эти сады покрыты нежным белым кружевом, а ночью от соловьиных трелей трудно было уснуть. И невольно, вспоминалось:

Я знаю край, где все обильем дышит,
Где реки льются, чище серебра,
Где мотылек степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора.

Вот такие именно веселые, уютные, зажиточные хутора были в то время до начала коллективизации на Украине.

В меня даже умудрился влюбиться, очень интересный, секретарь комсомольской ячейки Яша Сапожников. Грустно вздыхал, провожая меня. А когда мы уехали оттуда в Геническ, он приезжал несколько раз, хотел жениться, а было мне всего 15 лет, и я в это время хотела объять необъятное, и грустный, почти со слезами, он уезжал обратно.

Летно-подготовительные курсы

Когда я вернулась в Харьков, я обратила внимание, что в военно-физкультурном отделе ЦК ВЛКСМ большое оживление. Причиной суматохи было выступление А. С. Бубнова, начальника Политуправления РККА, на комсомольской конференции МВО (Московского военного округа) о мобилизации комсомола в военные школы.

Он обращался к комсомолу, требовал укрепить боевую подготовку первой в мире Красной армии, организующей силой которой является ВКП(б).

Комсомол обвиняли, в том, что у него военная работа идет «самотеком», что ее нужно усилить и проводить повседневно. Что стране идет гигантская стройка, а на западе все явственней звучат боевые сигналы, и что мы ходим на демонстрации, поем марш Буденного «Даешь Варшаву, дай Берлин!» И надеемся, что кто-нибудь другой за нас, займется этим делом, то есть военной подготовкой.

Комсомол быстро откликнулся, и мобилизация началась. От Украинского комсомола надо было мобилизовать 5000 человек. Я тут же чуть ли не одна из первых записалась на осоавиахимовские летно-подготовительные курсы. Шесть месяцев быстро пролетели. Прибыла из центра комиссия по отбору студентов в Московскую военно-летную школу. Мы даже в воздух должны были подняться на «кукурузниках», как мы в шутку называли наши учебные самолеты. Высота подъема чуть-чуть выше колокольни, с этой высоты весь город был как на ладони.

Со мной вместе был Сергей Рутченко, самый красивый курсант и замечательный актер. Он был женат, и его беременная жена всегда сидела за кулисами при всех постановках, где он всегда играл героев-любовников, как будто боялась, что ее Сережу кто-нибудь, унесет.

Когда мы спустились и вошли в помещение, там было шумно, весело. Все громко говорили, радостно смеялись. Сережа предложил посидеть тихонько и поиграть в шахматы. Я согласилась. Но не успели еще расставить фигуры, подошел курсант и сказал, что меня просят зайти в кабинет.

Я с бьющимся сердцем направилась по длинному коридору в кабинет начальника курсов, где заседала комиссия. Начальник комиссии крепко пожал мне руку, похвалил (на этих курсах я была единственная женщина), сказал, что у меня все очень хорошо, но – указав пальцем на дату моего рождения на анкете, спросил, правильна ли она или это ошибка. Я ответила, что правильна.

– Жаль, – сказал он, – несмотря на ваши хорошие успехи, мне придется отчислить вас по возрасту, мы детей за штурвал не сажаем, – но увидев, что со мной творится, он попробовал успокоить меня: – Не огорчайтесь, мы через два-три годика еще с вами встретимся.

И чего я не прибавила себе эти «два-три годика», злилась я на себя, – ведь никто никогда никаких метрических записей у меня не спрашивал, сколько написала, столько и прошло бы. Да и вообще, никогда в жизни у меня не было никакого метрического документа. Год и число моего рождения я всюду писала так, как сказала мне мама. Но думать об этом было уже поздно.

Да и события летели с молниеносной быстротой. В тот вечер во время любительского концерта Сережа выступил с длинной поэмой, в которой делился своими впечатлениями о нашем полете. Из него я только запомнила, как после каждого четверостишья он твердил: «На землю, на землю; на землю спустить». Такое еще тогда было отношение к авиации.

Закат НЭПа

Меры, принятые по инициативе В. И. Ленина на 10 съезде партии 8-16 марта 1921 г., дали положительные результаты. Новая экономическая политика с каждым днем оказывала все более и более благотворное влияние на экономику страны. И если бы не засуха 1920–1921 гг. и страшный голод 1921–1922 гг., который обрушился на 34 губернии с населением свыше 30-ти миллионов человек, хозяйство страны еще быстрее вышло бы из кризиса.

И даже, несмотря на все перенесенные страной невзгоды, страна сумела за такое короткое время восстановить не только сельское хозяйство, но и разрушенную дотла промышленность. Я очень хорошо помню, как и с каким энтузиазмом в период НЭПа люди работали.

Я помню сельскохозяйственные выставки и ярмарки в эти годы на Украине, они были похлеще тех, какие описывал Гоголь. Я помню ярмарку в городе Мелитополе.

Овощи, фрукты, мясные и молочные продукты, разнообразные товары, горы сверкающих на солнце горшков, а скотина: откормленные черные, белые, пятнистые чистые, упитанные свиньи, некоторые даже с какими-то наградными бантиками. Солидные, важные, породистые, выписанные откуда-то коровы, вымя которых почти касалось пола, дающие самый большой удой молока. Холеные красавицы лошади, которых с трудом удерживали их хозяева, казалось вот-вот у них из ноздрей полыхнет пламя, и они унесутся, как в сказке, в поднебесье. И гордые владельцы этих откормленных, породистых животных, конкурирующие друг с другом, чья скотина лучше и кто получит первый приз.

Жюри выдавало их владельцам подарки, премии, и всем было весело. Веселые крестьяне гордились и хвастались друг перед другом своей холеной выращенной скотиной. Так на всю жизнь запомнилась мне эта прекрасная ярмарка, что может сделать и чего может добиться человек своим честным и праведным трудом.

Я не говорю о тех вкусных вещах, которых всегда полно на ярмарках: о пирожных, тортах, блинчиках, борщах и великолепных вкусных фруктовых напитках, которые можно было тут же покупать за копейки. Магазины, ломились от товаров, не чужих, привезенных из-за океана, а своих, созданных здесь, своим собственным трудом.

После таких ярмарок даже знаменитая московская сельхозвыставка не произвела на меня особого впечатления, она не была такая живая и веселая. В ней не было той черноземной силы. Такой я помню в те годы Украину.

В. И. Ленин всегда подчеркивал, что НЭП это не отступление от социалистического строительства, а *единственная политика,* обеспечивающая возможность построения фундамента социалистической экономики. НЭП – это не случайное или временное мероприятие, он введен Коммунистической партией и Советским правительством на *продолжительное время.*

И что для дальнейшего успешного развития и восстановления всей промышленности основной задачей является восстановление разрушенного народного хозяйства, которое надо начинать с *сельского хозяйства,* т. к. без получения необходимого сельскохозяйственного сырья нельзя рассчитывать на подъем и развитие промышленности. И что трудовому крестьянству необходимо помочь, надо вести такую политику, которая стимулировала бы и помогала им восстановить сельское хозяйство в этой отсталой, разоренной стране.

В. И. Ленин всегда интересовался, принесла ли пользу новая экономическая политика. Это главный вопрос, говорил В. И. Ленин, и он имеет первостепенное значение для коммунистической партии. Если бы ответ получился отрицательный, то «мы все были бы обречены на гибель».

Рабочие и крестьяне – в осуществление ленинского принципа – во время сосуществования двух систем в период НЭПа добились колоссальных успехов.

Новая экономическая политика была *единственно* правильная политика. Она укрепила союз рабочих и крестьян и помогла развивать социалистический сектор народного хозяйства. Новая экономическая политика оживила политическую жизнь, а главное, в селах крестьянство начало принимать более активное участие в общественной деятельности страны, тем самым оказывало огромное благотворное влияние на всю экономику страны.

Ленин еще в 1922 г. говорил, что «вопрос о земле, вопрос об устройстве быта громадного большинства населения – крестьянского населения – для нас вопрос коренной».

Кооперирование мелкого крестьянского производства – самая трудная задача после завоевания пролетариатом власти… Объединение крестьян в кооперативы должно проводиться на *добровольных началах* и ни в коем случае административными мерами… «Лучше меньше, да лучше».

Ленин также подчеркивал, что «для поголовного участия населения в кооперации необходима *целая эпоха»*... И что для такой подготовки потребуются десятилетия и соответствующие материальные базы, а также определенный уровень культуры и что крестьянина необходимо переубедить и не словами, а *практическими* примерами. Ленин еще писал: «Нам осталось только одно: сделать наше население настолько *«цивилизованным»,* что бы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это участие. Только это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к социализму».

Та новая экономическая политика, которую ввел В. И. Ленин в 1921 г., могла существовать, должна была существовать, и существовала бы при советской системе до тех пор, пока советская экономика не окрепла. Но Сталин, в нарушение ленинского плана, ликвидировал ее в конце 1920-х годов, и тем самым он разрушил всю экономику страны.

Многие не понимали значение ленинской политики, но В. И. Ленин даже считал, что при наличии в руках государства *командных* высот народного хозяйства не надо бояться сдавать в концессию иностранным капиталистам некоторые предприятия для более быстрого восстановления тяжелой советской промышленности и некоторого оживления капитализма. Такая была твердая установка В. И. Ленина до последнего его вздоха.

И тов. Бухарин еще в 1925 г. тоже заявил:

– Наша политика по отношению к крестьянству и деревне должна развиваться в таком направлении… чтобы уничтожались многие ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хозяйства. Крестьянам, всем крестьянам, надо сказать: *«обогащайтесь,* развивайте свое хозяйство и не бойтесь, что вас прижмут».

Прав был Н. И. Бухарин, тысячу раз прав. Деревню надо было поддержать, дать ей инициативу и возможность развиваться так, чтобы деревня превратилась в пышный цветущий сад, в источник изобилия, и тогда сильнее, крепче нашей страны не было бы на всей нашей планете.

Владимир Ильич Ленин скончался 21 января 1924 г., и в своем завещании писал и предупреждал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». В. И. Ленин в этом же завещании предлагал партии «обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место *другого* человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, а именно, был бы более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью, но это не мелочь, или это такая мелочь, которая может положить решающее значение». (В. И. Ленин. Полное собр. соч. Т. 36, 4-е изд. С. 544, 546).

Самую большую, *роковую* ошибку совершила партия, когда на первом заседании ЦК генеральным секретарем был избран И. В. Сталин, и, на свою погибель, не приняв во внимание такое убедительное предупреждение В. И. Ленина, оставила Сталина на этом месте.

С этого момента в нем кипела злость против всех. И он шаг за шагом искал причины для того, чтобы уничтожить всех, кого он считал умнее или сильнее себя.

Господи, до чего же был прав В. И. Ленин, который до самой смерти писал, и все время твердил, что перевооружение сельского хозяйства должно происходить на основе *механизации* и электрификации и что «…дело переработки мелкого землевладельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее ПОКОЛЕНИЙ… только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификации»… (9 Соч. Т. 32. С. 194). Помогут справится с этой задачей. (В. И. Ленин. Полное собр. соч. Т. 32, 4-е изд. С. 194). Такова была установка и завещание В. И. Ленина.

Сталинская коллективизация

То, что творилось и что происходило при Сталине, ничего общего не имело с гениальным ленинским кооперативным планом.

Сталин игнорировал все мудрые установки Ленина о том, что после завоевания рабочим классом власти наиболее сложной задачей пролетарской революции является проведение социалистической перестройки сельского хозяйства и что главным и самым коренным интересом пролетариата является увеличение количества продуктов. И, как утверждал Ленин, для этого потребуется ЦЕЛАЯ ЭПОХА и несколько поколений. Сталин, как будто всем назло, решил доказать, что прав не Ленин, а он, Сталин, и уже в декабре 1927 г. на 15-м съезде партии настоял на принятии постановления о всемерном развертывании коллективизации сельского хозяйства в СССР.

Да что там на 15-м съезде партии, он уже на 14-м съезде, состоявшемся 1831 декабря в 1925 г. заявил: «Темпы движения к социализму необходимо *ускорить».* Как видно из этого, Сталин после смерти Ленина времени не терял.

А на 15-м съезде партии: «Всесторонне рассмотрев и обсудив вопрос о *всемерном* развертывании коллективизации сельского хозяйства, уже было принято решение о переходе земледелия к крупному социалистическому производству, основанному на новой технике». Вот этой самой новой техники в это время еще в помине не существовало, и по существу, не было подготовлено ничего, даже простого сарая, простого амбара, простой крыши над головой. А уже решено было развернуть подготовку наступления социализма по всему фронту (формулировка-то какая), не добровольное вступление, а «наступление социализма» на основании вот этой самой не существовавшей новой техники.

Накануне массовой коллективизации на Украине насчитывалось 5,2 млн. крестьянских хозяйств, на 30 % больше, чем до революции. Бедных было 30 %, главной частью был середняк – 65 %, а т. н. «кулацких» хозяйств – всего 4,5 %, и они производили *четвертую* часть товарного хлеба и всякой другой сельскохозяйственной продукции. И несмотря на то, что выпуск валовой продукции промышленности и сельского хозяйства к концу 1927 г. был уже больше, чем до войны (а колхозы и совхозы по производству зерна занимали еще весьма незначительное место), и посевные площади Украины в 1927 г. превысили довоенные почти на треть, и что повысилась не только урожайность, но и разнообразие культур, и что восстановлено было поголовье скота, и что улучшилось благосостояние основной массы трудящихся, и что молодежь с увлечением и с энтузиазмом начала заниматься сельским хозяйством, и что все время увеличивалось количество индивидуальных крестьянских хозяйств, Сталин, вопреки всему этому и всем заветам В. И. Ленина, поступил по-своему.

Под давлением Сталина в 1929 году НЭП *прекратил* свое существование. И с 1929 по 1932 гг. в Советском Союзе развернулось по всему фронту строительство так называемого социализма.

В «Правде» в это время появилась статья под названием «Год великого перелома», о *коренном* переломе в развитии нашего земледелия от мелкого отсталого индивидуального хозяйства к крупному, передовому коллективному земледелию. Это было тогда, когда еще не кончились и не были полностью решены основные задачи восстановительного периода народного хозяйства в стране.

В это же время на основании нового, законодательно оформленного постановления в 1929 г. в высших органах государства решено было перейти от политики ограничения и вытеснения кулачества к политике *ликвидации* кулачества как класса на основании сплошной коллективизации. И это рассматривалось как единственное и правильное решение, тогда как во время НЭПа рабочие и крестьяне, в осуществление ленинского принципа сосуществования двух систем, добились колоссальных успехов. Ну, разве это не абсурд?[11]

Абсурд

Во время жестокой коллективизации Сталин в оправдание своей жестокости заявил: «Мы проводим коллективизацию *опираясь* на бедноту. Ну, скажите на милость, разве это не абсурд?»

Разве правительство должно было *опираться* на бедноту, когда беднота должна была опираться на советскую власть, которая должна и обязана была дать возможность и создать такие условия, при которых вся беднота исчезла бы. Ведь революция произошла, и народ боролся за то, чтобы «кто был ничем, тот станет всем», и за это люди готовы были идти и шли «в смертный бой», а не ради того, чтобы весь народ превратить в бедноту. Ведь беднота тоже боролась не за то чтобы стать еще беднее, а за то чтобы стать богаче и зажиточней. К этому, насколько я помню, и стремилась наша страна под руководством таких прекрасных людей, как Н. И. Бухарин, и многих других таких же замечательных, как он. И пусть бы потом появились и колхозы, даже через «несколько поколений», как предвидел Ленин, но появились бы они на *добровольных* началах, по желанию самих трудящихся, а не под плач и стоны не только крестьян, но даже под рев ненапоенных и ненакормленных животных.

Ведь Сталин понятия не имел, что он делает, он только издавал один закон хуже и страшнее другого, и не потрудился даже увидеть, к чему эти законы привели. Он не видел и никогда не хотел видеть, как рабочие голодали, как пухли и умирали их дети от *искусственного* голода, *созданного им,* а он из упрямства тянул свою антинародную, античеловеческую политику, называя это «борьбой за социализм». Он превратил смысл и содержание этого слова в издевательство и насмешку. Кому был нужен голодный социализм?

Он разорил страну, разорил сельское хозяйство настолько, что оно не смогло никогда больше по-настоящему поправиться, он упрямо тянул свою антинародную, античеловечную политику.

Ведь этот кошмар даже *меня,* безгранично любившую советский строй, именно советский строй, с детства воспитанной в партийно-комсомольской среде, оттолкнуло от таких нелюдей, как Сталин, Ежов, Берия, Вышинский, и от тех, кто выполнял безоговорочно их указания.

Но не оттолкнуло от советской системы, с которой я никогда их не отождествляла. Так что же можно было ожидать от миллионов людей, которые никогда не имели никакого родственного чувства к советскому строю, к советской системе (ведь советской системе в то время было только 20 лет)?

[11] См. Исторические комментарии. Коллективизация. С. 774.

Они просто жили при этой системе и советскую систему, советскую власть *отождествляли* со Сталиным, Ежовым, Берией, Вышинским и считали, что при советской системе ничего другого, кроме этого *ужаса,* быть просто не может.

Кто дал право Сталину так преступно дискредитировать лучший строй в мире? Новый народный строй, завоеванный, именно *завоеванный* и *созданный* первый раз за всю историю человечества *простым народом,* простым человеком и для простых людей. И с потрясающей силой заявить всему миру, что он создан для блага человека, всего человечества, а не какой-то избранной кучки, что все люди равны на нашей планете и все имеют совершенно равные права от рождения и до смерти. И если бы не проклятое вмешательство Сталина, наша страна стала бы одна из самых передовых, самых богатых, самых цветущих и самых справедливых стран мира.

Моя подруга Зоя

Как только я немного освободилась от своих комсомольских нагрузок, я быстро решила поехать в свой любимый Мариуполь. Там были самые близкие мои друзья с самого раннего моего детства. Там жила и училась самая моя близкая как сестра подруга.

Мы вместе ползали, вместе научились ходить и говорить. Дом нашего дедушки стоял в центре на перекрестке двух главных улиц, дом Зои был на противоположном углу этой улицы. Их сад соприкасался с дедушкиным огородом. Из окон «нашего» дома (мы всегда так называли дедушкин дом) мы видели поезда, проходившие мимо полустанка Асланово в Мариуполь, и людей, идущих с поезда в «нашу» Македоновку.

Напротив нашего дома посреди широко открытой площади стояла большая, утопающая в зелени церковь, а вдали справа, в конце этой огромной открытой площади, были две большие крылатые ветряные мельницы.

По воскресеньям молодежь собиралась у церковной ограды со стороны школы, т. к. школа и церковь находились под одной крышей. Школа служила чем-то вроде клуба. Молодежи здесь было очень много, у них был свой проспект от церковной ограды до ветряных мельниц. По-гречески это называлось: «на пагум аста курича» – «пойти туда, где собираются девушки». Туда все надевали свои лучшие наряды, и там всегда было очень, очень весело. Когда наступали сумерки, молодые люди с веселыми песнями провожали приглянувшихся девушек домой, и наступала тишина, которую нарушали только забравшиеся в дом сверчки.

Ни телефонов, ни радио, ни кино здесь не было и в помине. Самым большим событием в жизни этого села были свадьбы. На них гуляла до упаду вся деревня почти целую неделю. Столы накрывались и в доме, и во дворе, и не было человека, который мог бы пройти мимо, не поздравив молодоженов. Браки были прочные, и о разводах не было и речи. Был еще один престольный праздник, который праздновали после сбора урожая, на него съезжались все соседние села, жарили целых барашков, столы стояли во дворе и ломились от яств. Такие события или праздники были очень полезной отдушиной в их тяжелом, напряженном труде. Ведь крестьянский труд очень тяжелый, напряженный круглосуточный труд – не ограниченный часами. Они старались дать скотине больше возможности отдохнуть, чем отдыхали сами. И все это было, я помню, до коллективизации.

Я помню, как дедушка вскакивал несколько раз в такую короткую летнюю ночь, ходил проверять лошадей, подсыпать им корма или просто убедиться, все ли у них в порядке. И еще я помню, как в одну такую ночь он в ужасе увидел пустые места там, где стояли лошади, их ночью после того, как он проверил и лег прикорнуть, увели.

Видя его отчаяние, я тогда поняла, почему так жестоко люди расправляются с конокрадами, когда они попадаются, над ними очень часто творили самосуд и убивали их здесь же, на месте. Конокрады для крестьянина были самые ненавистные и самые презренные воры. Отняв у крестьянина лошадей, их рабочую скотину, они обрекали их на голодную смерть. А потерять лошадей в горячую пору было ужасным, смерти подобным несчастьем.

На смену этим красавицам лошадям у дедушки появились волы, белые-белые, с огромными красивыми рогами – они двигались и делали все медленно и важно. Но осенью вдруг появился человек, который заявил, что волы у него были украдены года два-три тому назад, и на них его тавро, хоть даже и измененное. Дедушка купил этих волов в Мариуполе на ярмарке на Сенной площади– и так ему бедному не повезло!

В это время предприимчивые, энергичные молодые люди создали кооператив на добровольных началах, в него и вошел наш дедушка. Купили трактор «Фордзон». И я помню, как его сняли с поезда, как ликующая толпа ребятишек и взрослых сопровождала этот гро-

хочущий трактор в село, он шел степенно, важно до первого единственного деревянного мостика, переброшенного через балочку, туда он и провалился.

Старым лошадям пришлось вытаскивать это чудо новой техники под грохот и хохот окружавшей его толпы. Но какая была у всех радость, и как все были благодарны, когда этот трактор облегчил полевые работы всего села. Очень скоро после трактора этот кооператив или артель, не помню как они себя называли, купили комбайн, на котором по очереди молотили посевы во всем селе.

Я только помню, что каждый дом в этом селе был полная чаша. Осенью в домах засыпали зерном даже парадные комнаты, т. к. никаких элеваторов поблизости не было, чтобы сохранить такое изобилие. После уборки урожая зерно везли в город, сдавали все, что полагается, в государственные ссыпные пункты, а излишки продавали. В садах деревья ломились от изобилия фруктов. С баштанов везли арбузы, дыни и другие овощи до самой глубокой осени. Народ варил, солил, мариновал, сушил – работа кипела в каждом доме. Готовили и для себя, и для продажи в городе. Какими только вкусными вещами не были завалены чердаки и подвалы домов!

Все люди были веселые, счастливые, днем тяжело работали, а вечером отовсюду доносились веселые голоса и пение. Работали все радостно, с удовольствием. Впереди их ожидала суровая, но уютная и полная достатка зима. Так приятно было видеть эти полные достатка счастливые села. Ни помещиков, ни кулаков-мироедов, какими я представляла их себе, здесь не было и в помине. Прекрасные, здоровые труженики крестьяне жили все в одних и тех же условиях, может быть за небольшим исключением. Те, у кого были большие семьи, такие как у моей подруги Зои, у них и рабочих рук было больше, и жили они, может быть, немного лучше, чем другие, а так в среднем все жили одинаково и очень хорошо.

Я-сама

Бедных в этом селе не было, и кулаков тоже, здесь жили крепкие, любившие свой труд люди, стремившиеся как можно лучше вести свое хозяйство. Помню только одну-единственную бедную семью Сашки «я-сама», как его прозвали все. Это был приемный сын местного адвоката, который работал в городе, а здесь у него был рядом с дедушкиным садом свой собственный, очень красивый, особняк. Он был здесь один из самых состоятельных интересных людей, я даже помню, как и когда он умер от тифа, вскоре за ним скончалась его жена, только успев женить Сашку из боязни, чтобы тот не остался один. Я также помню, как его красивую будущую жену Лизу наряжали на свадьбу в нашем доме. После смерти родителей бездельник Сашка очень быстро стал распродавать имущество отца. Помню, как он продал последнюю корову и купил в городе какую-то замысловатую зажигалку. Мы, дети, были в восторге от этой игрушки, но у него уже родился ребенок, и его сын остался без молока. И моя сердобольная бабушка каждое утро носила им кувшин молока, и даже тогда, когда у нас почти ничего уже не было, она всегда находила что-нибудь, чтобы отнести Лизе и ее детям. В конце концов этот «я-сам» продал дом и переехал в какую-то халупу в конце села. Когда я приехала к бабушке на лето, она послала меня отнести что-то ребятам. Я пришла в ужас, когда увидела этот сарай, в котором лежал Сашка посреди комнаты без мебели, вокруг него копошились уже трое детей, а он, растянувшись на полу, ловким движением кнута сбивал мух с потолка. Его хорошенькая жена Лиза превратилась в худую измученную женщину с тремя ребятишками. Так в этом селе появился «бедняк», бездарно промотавший состояние отца: «Я-сам». За ним так закрепилось это прозвище, что все забыли, как его зовут. Шли годы, и во время коллективизации этот «Я-сам» стал одним из самых почетных членов общества. Сидел он во вновь организованном сельсовете с кнутом, лежавшем перед ним на столе

(хотя ни лошадей, ни коров у него не было), и ходил он тоже не расставаясь с ним, изредка отбиваясь от лающих на него собак. И это был здесь единственный бедняк– бездельник.

Лучшее место на земле

Я очень любила это место, и уезжая отсюда, всю зиму жила воспоминаниями о приятно провиденных каникулах вместе с Зоей и друзьями среди цветущих садов и полей, и с нетерпением ожидала другого лета. Все они тоже после учебы возвращались из города на каникулы домой. Мой приезд вносил разнообразие в их спокойную жизнь, и я всегда чувствовала, что они ожидают меня так же с радостью, и как только я ступала на перрон, то попадала в их цепкие объятия, и домой мы шли уже веселой гурьбой.

У калитки встречала нас бабушка в черной праздничной одежде и в беленьком платочке, из-под которого непокорно высовывались пряди вьющихся, но уже седеющих волос.

Западная сторона «нашего» дома была обсажена белыми акациями, южная сторона персидской сиренью Розы, ирисы, тюльпаны, а поздней осенью астры окружали дом, но когда расцветала белая акация и ночные фиалки, я задыхалась по ночам у открытого окна от запаха цветов. У ворот стоял тот же злополучный на 4-х камнях «рундучок», тот самый, под каменные ступеньки которого мама бросила оружие в красной тряпке во время обыска.

За этим домом начинался мой любимый сад, посаженный в молодости дедушкой. От обилия фруктов ломились ветки деревьев: груши, яблони, абрикосы и дымчатые сливы всяких сортов. Вишневые ряды рдели в лучах заходящего солнца, гнулись и ломались ветки от изобилия плодов.

Здесь прошли лучшие годы моего детства. Здесь мы находили прохладу с Зоей в знойное южное лето под тенью широко раскинувшихся деревьев, здесь мы читали Толстого, Дюма, Джека Лондона, Пушкина, Майна Рида, Чехова, Теодора Драйзера и многое другое, что попадало нам в руки. Здесь мы мечтали о будущем, которое казалось нам таким радостным и заманчивым. Здесь мы заучивали свои роли для очередной постановки в церкви, которую в 1928 г. вдруг превратили в клуб.

Над этим «клубом» повесили красный флаг из дешевой материи, который от дождя и солнца слинял и превратился почти в белый. И моя глубоко религиозная бабушка, глядя на это богохульство, говорила: «Видишь, Бог не вынес такого надругательства». Для таких, как она, это была большая трагедия, и зачем это делали, я до сих пор не могу понять, зачем людей лишили этой радости. Ведь десять лет после революции она никому не мешала. Зачем надо было превращать церкви в кинозалы и склады, в музеи – это куда еще ни шло.

Ведь мое поколение к религии относилось уже совсем равнодушно, а со временем у людей еще моложе нас это религиозное чувство само по себе стало бы постепенно отмирать.

В этой маленькой, уютной, в 100 дворов Македоновке рано-рано утром со всех сторон доносилось бряцанье и визг цепей, все тащили воду из глубоких колодцев для полива огородов, мычали коровы. И пастух, щелкая громко, как выстрелом из пистолета, своим длинным кнутовищем, загонял собранное на площади стадо на луга.

Ночной аромат цветов рано утром сменялся запахом кизяка и соломы – все готовили завтрак. Как будто скорбя и жалуясь, за ворота со скрипом выезжали арбы и сперва как бы нехотя, а потом все быстрее и быстрее укатывали в поле, чтобы к обеду вернуться нагруженными дарами щедрой природы: рожью, овсом, пшеницей или кукурузой, подсолнухами, арбузами и дынями. Все здесь дышало изобилием. Здесь люди любили свой труд, они работали всю неделю от зари до поздней ночи, зато рано утром в воскресенье в город на рынок, на ссыпной заготовительный пункт нескончаемой вереницей ехали подводы и к вечеру возвращались с городскими покупками. Покупали в городе все: красивую сбрую, сельхозинвентарь, домашнюю посуду, даже граммофоны и, конечно, обновки всем домашним.

Дети новой эпохи

Семья у Зоиных родителей была большая. Зоя была младшая в семье, три сестры, два брата. Отец Зои был очень умный, достаточно образованный человек, он имел полную возможность жить и работать в городе, но город он не любил с его шумом, вечной суетой, а больше всего он не любил покупать фунтами то, что так щедро в неограниченном количестве давала природа. Он приехал, получил участок рядом с усадьбой моего дедушки и, пока строился его дом, жил у дедушки. Отец Зои работал много, взрослые дети помогали, у них появилось две коровы, пара лошадей, амбары были полны зерна, жили они, благодаря трудолюбию всей большой семьи из восьми человек, очень хорошо.

Зоя ненавидела сельское хозяйство, она вечно твердила: «Это труд, от которого мозги сохнут».

В моей памяти запечатлелись чудные южные ночи. Либо густые, черные, окутывавшие черной вуалью все вокруг, либо лунные, когда все блестело и светилось серебристым светом, и тени ложились вокруг этих усадеб, как причудливые кружева. В такие ночи мы уходили далеко-далеко в поле и долго бродили в степи, вдыхая пьянящий аромат полей. Забирались к кому-нибудь в баштан, где нас угощали сладкими сочными холодными арбузами или дынями.

Ведь и я, и Зоя, и все наши друзья были детьми новой эпохи. Мы не помнили старое время, мы только хорошо помнили борьбу наших близких за великое будущее нашей родины. Мы помнили революцию, эпоху военного коммунизма, великий голод 21 года, период НЭПа и период восстановления советского хозяйства. Ни у Зои, ни у меня, ни у кого другого из нашей компании не было вины перед нашим отечеством. В этом мире нам все казалось хорошим, и действительно, до этого момента все было хорошо, ведь у нас воспитывалось чувство коллективизма, любви ко всем и всех к одному, и мы любили всех. Не только у меня, но и у всех моих друзей радостно билось сердце от счастья и подъема, что мы живем и являемся свидетелями и, прямо или косвенно, участниками такого *великого* и могучего события. И все мы собирались – и как собирались! – *построить новый мир,* и все мы были уверены – и как уверены! – что мы этот *новый мир* построим, и не только для себя, а для всех будущих поколений, и может быть, во всем мире. Поэтому у меня всегда было чувство, что мы должны быть такими, чтобы весь мир смотрел на нас с надеждой и восторгом.

Лишенцы

И вот впервые, когда я вышла из поезда, вместо веселой гурьбы я увидела только одиноко стоящую Зою.

– Где все ребята? – спросила я.

Зоя смущенно, как бы чувствуя себя виноватой за такую встречу, заметила:

– Да где-то здесь.

В стороне от вокзала стояли Костя, Гаврик, Дима.

– И это все? – удивилась я.

Зоя объяснила:

– Ты знаешь, мало кто приехал. У многих ребят родителей здесь лишили права голоса, и каждый думает: не встречаюсь с родными, значит не поддерживаю связи с родителями-кулаками.

– С какими кулаками, о чем ты говоришь? – я никак не могла понять, откуда вдруг вот здесь появились какие-то кулаки.

Но я также узнала, что некоторые ребята, вместо того чтобы учиться в техникуме или в институте, пошли работать на производство, зарабатывают себе рабочий стаж.

Вечером, как всегда, ребята собрались у меня, все были скучные, у Гаврика, у Кости, у Димы и у других ребят была одна и та же ситуация. Их родители оказались в той группе, которую раскулачили и должны были вот-вот выслать.

– Ты можешь жить без комсомола? – прервала мои мысли Зоя.

Я ни разу не задавала себе этого вопроса, но то, о чем думала Зоя, передалось и мне.

И я вдруг подумала, что если бы я, так же как они, вдруг оказалась выброшенной из общества без всякой вины с позорным клеймом, и всякий проходимец мог с презрением швырнуть мне в лицо «ты *лишенец»,* и у меня не было бы ни моральной, ни физической возможности, вернее не возможности, а права, оправдаться, мне стало жутко. Без комсомола жизнь потеряла бы для меня всякий смысл.

Ведь комсомол это то, что включает в себя все-все лучшие идеи в мире. Как можно лишать вот таких замечательных ребят права быть в комсомоле. Мне было очень тяжело признаться в этом. Ведь мы все родились и живем в самой прекрасной, самой лучшей стране мира, и все любим ее. Что же происходит?!

Мы все гурьбой пошли, как всегда, гулять в поле. Ночь была чудная, мягкая, ласковая. Взошла луна, звезды поблекли, но все предметы на земле стали принимать приятные, фантастические очертания. Воздух наполнен был ароматом полей, трав и цветов. Дышалось легко, свободно. Кузнечики как будто утомились, трещали тише. И каждый из нас думал, в созерцании этой степной красоты: какой прекрасный мир, и кому чего не хватает? Почему нужно людям с кем-то и с чем-то без конца бороться. И вдруг в тишине раздался протяжный вой собаки. «Отчего она воет? – спросил кто-то. – Здесь недалеко кладбище, – ответила Зоя, – там недавно похоронили ее хозяина».

Заколоченные дома

Во второй мой приезд было хуже и страшнее. Меня поразило, что в этом чудесном, таком всегда благополучном, веселом месте, где все друг друга знали с дня рождения и до смерти, такое всеобщее уныние. Все замерло в каком-то тревожном ожидании. Я прошла мимо нескольких уже заколоченных домов, это были дома тех, кого уже успели выслать за «сопротивление коллективизации». В их числе стоял заколоченным и дом старшей сестры Зои, у которой мужа уже выслали.

Сестра Зои, оставшись беременной третьим ребенком, решила сделать аборт, с этой целью она обратилась к какой-то местной знахарке, и та взялась за дело при помощи вязального крючка. Вскоре Варя потеряла сознание, ее отвезли в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание, от внутреннего кровоизлияния в результате прободения матки.

Для семьи это был очень тяжелый удар. Внучата, две девочки, остались с бабушкой и дедушкой.

Семью Зои тоже причислили к «кулакам», лишили права голоса и вот-вот собирались полностью раскулачить и выслать.

Старший сын, Вася, вернулся из армии с чудесными характеристиками за примерную дисциплину и великолепную политическую благонадежность. Но как только он увидел, что творится в семье, и вообще вокруг, собрался и уехал на Дальний Восток на Сучанские рудники. Оставаться ему было нельзя, его бы сделали лишенцем, как отца и других членов семьи. Зоя переехала к младшему брату, который уже работал на заводе. Все это я узнала сразу после моего второго приезда от бабушки.

Я поднялась с намерением идти к Зоиным родным.

– Ты бы отдохнула, – утирая слезы, упрашивала меня бабушка. Но я была уже за дверью.

Меня поразило запустение в этом дворе. Всегда таком чистом, ухоженом. Весь двор был всегда посыпан желтым песочком, кругом благоухали цветы. Теперь двери пустых сараев были открыты настежь, мать Зои, раньше полная цветущая женщина, сразу постарела, сгорбилась. Вошел отец, вытирая натруженные руки, и сделав усилие над собой, улыбнулся:

– Ну вот, дождались нашу рабоче-крестьянскую власть!

Он подал мне листок по дополнительной хлебозаготовке:

– Я уже все продал, чтобы заплатить первые два налога, а для этого мне уже нечего продавать, – объяснил он.

Неделю тому назад пришли, описали все имущество, а через неделю предложили ему выбраться с семьей.

– Что же это делается? В колхоз меня не принимают, я лишенец – значит смерть под забором на старости? – говорил он мне со слезами в глазах. – Да разве я о себе старался! У меня их шестеро, я думал каждому нужно есть и жить. Ведь все знают, что я, как вол, работал день и ночь, за что же меня бить? Хороший хозяин свой рабочий скот бережет, а здесь людей трудящихся избивать начали. Разве так хозяйство строят?

Крупные слезы сбегали по морщинкам и прозрачными дождевыми каплями повисали на усах. Куда девалось прежнее величие этого красивого, здорового человека!

Уходила я из этого дома в подавленном настроении: так вот она, прелесть коллективизации. Не могла понять, зачем, почему нужно разорять, губить жизнь таких веселых, жизнерадостных, трудолюбивых людей. В душе у меня был полный хаос.

«Да разве те, кто сидит там, наверху, не видят, что происходит вокруг? – думала я. – Как может партия позволить творить эти ужасные безобразия? – И сейчас же старалась оправдать: – Не партия виновата, а всякие проходимцы, пролезшие в партию».

И все надеялась и ждала, что вот-вот кто-то поймет, что все идет не так, и спасет страну от неизбежной катастрофы, а что дело идет к катастрофе, даже мне было ясно.

Но исполнительным комитетам предоставлялось право всевозможными мерами бороться с кулаками вплоть до *полной конфискации* их имущества и выселения за пределы районов, округов, республик. Из центра явилось несколько человек, и всем «кулакам» был дан приказ немедленно, в течение 12 часов, освободить помещения и собраться у сельского совета. Народ замер, в домах даже говорить стали шепотом, боялись даже на улице показаться.

Я решила зайти к Зоиным родным. У меня еще теплилась надежда, что, может быть, их оставят. Здесь я увидела картину, которую трудно забыть всю жизнь.

Отец ходил из угла в угол, как помешанный. Анна Дмитриевна (которую все называли ласково Анюта) копалась в вещах, как будто что-то искала. На балконе лежали узелки, дети старшей сестры прощались с кошкой и собакой.

Старшая, Наденька, лаская большого красивого пса, назидательно говорила ему, водя пальчиком перед его носом:

– Ты будь умником, за курами не гоняйся, чужих яиц не воруй, а то, когда мы вернемся, я тебя накажу, – и обернувшись к бабушке: – Бабушка, ведь мы скоро вернемся, правда?

Увидев меня, бросилась ко мне:

– Тетя Нина, ты будешь кормить нашего Полкана? А то он с голоду сдохнет или яйца начнет воровать, и его будут бить за это. – Я ей пообещала. И тут же она продолжала жаловаться:

– Бабушка плачет, дедушка тоже… Как могут старые люди плакать, я не люблю смотреть на плачущих дедушек.

Она щебетала, а у меня стоял ком в горле.

«Вот сейчас, – думала я, – не хватит у меня мужества, и я взвою белугой».

Излишне описывать тяжелую сцену прощания этих старых, натруженных людей с домом, садом, где каждый кустик, каждый камешек был знаком и близок, как живой, обласканный и посаженный любовной рукой хозяина. Мать вошла в залу. Все вещи стояли по-прежнему, даже цветы были политы. И здесь она упала как подкошенная. Рыдала она громко, причитая, вспоминала, как вот здесь родила Васеньку, Зоиньку… Подошла дочь…

– Ну, хватит, – произнесла она довольно грубо. – Уже пришли выгонять.

Я чувствовала, что за этой грубостью скрывается боль, и она боится при ласковом слове смалодушничать и расплакаться. Ее глаза были припухшие, и я поняла, что всю ночь она проплакала.

И вот со двора вышла эта печальная процессия. Маленькая девочка прижала к себе крохотного котенка, Полкан бежал за Наденькой.

Поравнявшись с моим домом, они попрощались со мной без слез, но в последний момент мать, целуя меня, произнесла: «Передай привет, поцелуй мою»… – и имя дочери заглушили ее рыдания.

Так опустели и были заколочены еще 22 двора этого красивого поселка.

Зои не было, она была потрясена, когда я ей вечером сообщила об этом, ведь собирали и свозили всех как с пожара. Это был «счастливый» случай, эту семью *не выслали* по этапу, в первую очередь ее поселили в каком-то пересылочном бараке.

И долго, как тогда на кладбище, у опустевшего дома, нагоняя страх на жителей, выл Полкан, пока его кто-то не прикончил.

Я собиралась уезжать, но мысль, что мне нужно оставить Зою в таком состоянии, не давала мне покоя, я просто переживала за ее одиночество, я знала, что ей будет очень, очень тяжело.

Несколько последних дней я провела вместе с ней.

– Поедем со мной, – просила я ее.

– Нет, – категорически заявила она. – Ты пойми меня, ведь в моей стране меня сделали человеком, лишенным всяких прав, в стране, которую я так горячо люблю. Ну, скажи, кто имеет право лишить меня самого святого права, быть гражданином этой страны.

И вот в этом маленьком, всегда таком веселом счастливом местечке были выселены и исчезли больше 30 семейств.

Так произошло одно из самых чудовищно страшных *преступлений,* в момент самой напряженной международной обстановки, которое совершил Сталин, именно Сталин. Потому что совершенно противоположных взглядов придерживались *здравомыслящие* Бухарин, Рыков, Томский и многие, многие другие, занимавшие ответственные посты члены правительства. Но на ноябрьском пленуме ЦК в 1929 г. их взгляды были признаны капитулянтскими, не совместимыми с партийными, и их всех вывели из состава Политбюро ЦК.

Как мог «вождь» *не понять,* что в это время еще многие, да просто вся основная часть взрослого населения, которая жила и росла в *дореволюционное* время, не могла, не знала и не умела так сразу, легко и просто, приспособиться, даже привыкнуть еще к этой совершенно новой системе.

Ведь, по существу, народ только-только начал осваиваться и входить во вкус новой, совершенно новой для него системы. И мудрость нового правительства заключалась не в том, чтобы громить, уничтожать и обострять, а в том, чтобы, имея для этого все возможности, стараться создать такие условия, при которых даже самые закоренелые, антисоветски настроенные граждане поколебались бы в своих убеждениях, поняли и оценили достоинства новой системы и, пусть даже нехотя, но согласились бы с тем, что эта власть для народа лучше прежней.

Но Сталин сделал все наоборот, не только настоял, он не дрогнув потребовал проведения ускоренными темпами сплошной коллективизации в стране, совершенно еще не готовой к этому ни морально, ни материально, и при полном отсутствии какой-либо технической подготовленности.

Так, после смерти В. И. Ленина, вместо того чтобы, продолжая ленинскую политику, постараться сделать так, чтобы классовая вражда постепенно стала утихать, в сталинское время, я до сих пор понять не могу почему, классовая борьба с «кулачеством» вдруг начала *обостряться,* начала принимать и приняла не просто острые, а катастрофически жестокие формы. Каким образом через 10 лет после Октябрьской революции и существования советской власти появилось сразу столько злостных кулаков, почему в течение этих десяти лет власти не могли просто тихо и спокойно приструнить тех, кто зарвался и превысил доступные нормы производства?

Может быть, это было бы более полезно прежде всего для тех, кто изо всех сил *надрывался,* считая что он не просто должен, а обязан производить как можно больше всевозможной сельскохозяйственной продукции и поднять нашу продовольственную экономику на такую высоту, чтобы она могла досыта накормить не только себя, а всех тех, кто стоял за станком и всю веками голодавшую не только с некрасовских времен, а даже еще раньше, огромную нашу страну. Ведь помещиков давно уже и след простыл, остались самые простые трудовые крестьяне.

Кто и как мог в такое тревожное в международном отношении время и при таких тяжелых обстоятельствах надоумить или подсказать ему эту убийственную идею *насильственной* коллективизации, к проведению которой он приступил с настойчивостью маньяка, неизвестно. Одно можно твердо сказать, что такой совет могли дать не друзья, а враги.

Или он сам упрямо и вопреки всякому здравому смыслу решил доказать «троцкистско-зиновьевскому антипартийному блоку», настойчиво утверждавшему, что в данный момент еще невозможно развитие крестьянского хозяйства по социалистическому пути, что вот он, *Сталин, может* построить и *построит* социализм в одной отдельно взятой стране и так, как он хочет. И чем больше приводилось доказательств пагубности этой идеи в данный момент, тем еще сильнее, с тупым упрямством и настойчивостью, не считаясь, как всегда, ни с кем и ни с чем, он настаивал и требовал доказать, что это можно сделать, и может сделать только он. И для этого в эту диктаторскую авантюру, вольно или невольно, он вовлек всю коммунистическую партию и довел страну до повального голода.

Я ведь помню, я видела, как многие члены партии со слезами на глазах выполняли посылаемые сверху директивы, понимая, что они приведут к ужасным последствиям, голоду, репрессиям, и в конечном итоге к гибели *одной из лучших, завоеванных народом государственных систем в мире.* Никакие враги, а их было много, очень много, не способны были нанести Советскому Союзу и Коммунистической партии *больше вреда,* чем это сделал сам Сталин, глава Коммунистической партии. И никто другой, а именно Сталин решил, что коллективизацию надо проводить именно так, не понимая, не сознавая и даже не желая понять, во что это может вылиться. Ведь для создания в колхозах новой общественной дисциплины труда требовалось время, много времени, и большие усилия. Никакого опыта у партии, да не только у партии, а просто ни у кого в этом деле еще не было.

Итак, начиная с 1928 г. положение в стране все время ухудшалось, ухудшалось и катастрофически ухудшилось.

Применение особых мер

Вот в это горячее время, как только вернулась я в Геническ, не успев еще опомниться от своего огорчения, представитель из центра по наблюдению за проведением коллективизации на периферии обрадовался:

– Вот здорово, – заявил он, – ты приехала кстати. Здесь черт знает что творится! Выехать отсюда никуда не могу. Всех мобилизовали, все разъехались, а со всех сторон поступают все более и более тревожные сведения – все жалуются, а я здесь один, ну хоть разорвись. Ты знаешь, в деревнях бабы взбунтовались, распускают слух о каких то 100-метровых одеялах, которые шьются для колхозов, и что все должны спать под одним общим одеялом. Вот и попробуй разубедить их.

Выехала я в деревню, где полным ходом, так же как и повсюду, шла коллективизация, чтобы разубедить будущих колхозников, что никто не собирается шить для них стометровые одеяла. Здесь уже были бригады, которые ходили из дома в дом, копались в огородах, обстукивали полы, рыли ямы в сараях в поисках спрятанного зерна.

Еще один парадокс: искали необходимое для нужд государства зерно таким образом, и в то же самое время разгромили всех состоятельных крестьян, которые могли безболезненно обеспечить страну этим зерном в избытке.

В школе, утопая в списках живого и мертвого инвентаря, сидели члены комиссии. Когда я взглянула в эти списки, мне стала ясна тревога и возмущение женщин. Здесь было записано все, все вплоть до домашней утвари. Сеялки, веялки, лошади, коровы, куры, утки, посуда, даже ухваты.

Во дворе стоял невообразимый рев скотины, ревели недоеные коровы, ненакормленные свиньи, ненапоенные и ненакормленные лошади, я вспомнила, как когда-то в детстве я наблюдала солнечное затмение – скотина вела себя так же беспокойно.

Народу пришло много. Угрюмые злые лица. Чувствовалось – народ задет за живое. Большинство было женщин. Представитель районного комитета заявил, что все по этим спискам должно быть снесено в указанные места в трехдневный срок, и если через три дня найдутся такие хозяйства, которые не выполнят указаний, то они будут ликвидированы, а хозяева лишены права голоса и высланы.

Тогда-то и загудели женщины:

– Ничего мы не снесем, все это своими мозолями нажито!

– И так уже остались без хлеба, а дети – без молока!

– У меня уже всех курей отняли, корову забрали, мало вам – так возьмите душу, все одно здыхаты!

Чем их успокоить? Что им сказать? Что это делается для их блага? А где же доказательства? Их не было.

Крики превратились в настоящий бабий вой.

Районный представитель стоял бледный, руки у него дрожали. Собрание кончилось, но народ не расходился.

Толпа продолжала гудеть: куры дохнут без корма, хлеб гниет, недоенные голодные коровы ревут, а собранную скотину держат под открытым небом, нет ни сараев, ни помещений и кормить нечем.

– Жен своих в колхоз запишите, а нам колхоз не нужен! – кричали женщины.

– Куда делась молодежь? – спросила я секретаря партячейки.

– Все разбежались на заводы и на шахты, – он подошел к двери, вернулся. – Закройте двери, – посоветовал нам.

Мы перешли в учительскую, кто-то бросил увесистый камень в окно. Мы сели на диван и стали совещаться. Что же делать дальше?

В воде дырку не провернешь

Вскоре я попала в Харьков, здесь я встретилась с Панасом Петровичем Любченко, он был в то время секретарем ЦК КП(б) Украины, на меня он произвел очень приятное впечатление, такой добродушный. Вот я ему с горяча все свои сомнения и выложила.

Сейчас странно вспоминать, но в те годы все было проще, и мне тогда казалось, что *нет никакого преступления* в том, чтобы сказать *правду,* как я ее видела, и даже наоборот, скорее преступление – это скрывать, умалчивать. Но Сталин сумел и все это перевернуть, разрушить. Я помню, где-то прочла слова Ленина, что критиковать можно и нужно и что если критика содержит хоть один процент правды, то ей уже цены нет, настолько ему хотелось, чтобы люди не боялись высказывать свое мнение.

Любченко мне ответил, что времена меняются, и никто из нас, ни он, ни я в воде дырку не провернем, и что по этому поводу ему пришлось выдержать много атак. И что если не верить в успех дела, то очень, очень трудно работать, и что большевики уже сделали одно великое дело — *Народная* (он даже подчеркнул слово народная) советская власть существует уже 12 лет и будет существовать. И что ни одна революция *без жертв* не совершалась, а коллективизация это тоже революция, и еще какая.

Я тоже понимала, что во время революции гибнут невинные, но ведь мы строим мирную жизнь, и мы все хозяева нашей страны, как же можно допустить, чтобы люди ругали, проклинали коммунистов-большевиков – не унималась и продолжала возмущаться я. Об этом чудовищном колхозном строительстве уже повсюду и вовсю гудели наши враги по всем странам света, по всем заграницам.

Мне всегда было больно слышать, когда ругали коммунистов, это осталось у меня еще с детства. Зачем же довели такую высокую идею до того, чтобы люди возненавидели ее? Ведь *не идея коммунизма* виновата, виноваты те, кто требует проводить в жизнь эту идею вот таким страшным образом. Ведь те, кто издает такие приказы и требует их выполнения, не соображают, что они творят. Это так же, как и во времена христианизации: не христианская религия или идея творила те жуткие преступления во имя той, в то время тоже идеальной, идеи, а люди, те люди, которые боялись потерять власть. Слава богу, ведь мы живем уже в другое время.

Значит, *все понимают,* что происходит что-то непонятное, и надеются, что пронесет, и, может быть, и в самом деле все изменится к лучшему.

Я гораздо позже начала понимать, что многие, особенно умудренные опытом, старые члены партии молчали и терпели из опасения, что их могут обвинить в каких-либо правых, левых, зиновьевско-троцкистских и черт его знает в каких еще уклонах, что и случилось, но немного позже, и исключить из партии, а это для них было равносильно самоубийству.

Когда хлеб печет сапожник

Теперь я попала в группу, работавшую по сбору и подготовке материала о наших достижениях 16-му партсъезду ВКП(б), который должен был состоятся в Москве с 26. 06 до 13. 07 1930 г. – по итогам первого 5-летнего плана и вопросам развернутого наступления социализма по всему фронту, то есть по вопросам сплошной коллективизации сельского хозяйства и перехода к политике ликвидации кулачества как класса.

Вот в это самое время всем командировочным, в том числе и нашей группе, надлежало проехаться по целому ряду колхозов района, собрать материал о наших достижениях, вер-

нуться в Мелитополь, составить рапорт о наших достижениях и вручить его комсомольской велоэстафете Севастополь – Москва, которая должна была прибыть на днях из Джанкоя. Рапорт готовился для передачи 16-му партсъезду ВКП(б) к его открытию 26 июня 1930 г.

Мне предложили сначала поехать в колхоз-миллионер им. Сталина. Я уже до этого побывала в нескольких колхозах, а этот был один из старейших богатых колхозов в районе. В этом колхозе были свои коровники, свинарники, курятники, был у них даже какой-то медицинский пункт, ветеринарный пункт без ветеринара и большая общая столовая, детский сад, своя школа для детей и для взрослых по ликвидации неграмотности и малограмотности.

Как раз в это время, сразу после ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1929 г., профсоюзы приняли постановление о мобилизации и отправке с предприятий передовых рабочих промышленности в деревню в различные колхозы, так называемых двадцатипятитысячников, для оказания помощи в организации колхозного хозяйства и для внедрения передовых методов работы.

Сюда, в этот колхоз, прислали двоих рабочих. Один был из Днепропетровска с завода им. Петровского, другой – аж с Тульского оружейного завода, вот они обязаны были заниматься организацией колхозного хозяйства. Научить крестьян производственным методам работы, ремонту сельскохозяйственного оборудования, которого по существу у крестьян еще не было.

Откуда эти молодые люди, которые никогда в жизни с сельским хозяйством не сталкивались, могли знать и понимать больше, чем крестьяне, что такое сельский труд, и как и чему они могли их научить, когда сами не умели ни запрячь лошадь, ни отличить овес от ржи, а рожь от пшеницы? Но им полагалось вмешиваться в крестьянскую работу, давать всякие советы, указания и учить крестьян «производственным методам» – ведь для этого их и послали сюда.

Меня тоже, 16-летнюю девчонку, посылали вместе с ними учить уму разуму крестьян, как им *организовать* и вести хозяйство. Как будто крестьяне, испокон веков занимавшиеся сельским хозяйством, *хуже* нас знали, что к чему.

Вместо того чтобы подготовить и послать в новоиспеченные колхозы и совхозы агрономов, ветеринарных врачей, побольше сельхозтехники, посылали хлопцев, которые выросли в городе и в жизни не видели, как и где пшеница растет и из чего хлеб делается. Я даже до сих пор помню, как долго надо было объяснять этим молодым людям, как отличить рожь от пшеницы и овес от ржи. Крестьян они ужасно раздражали. Как только я приехала сюда, они стали горько жаловаться:

– На кой к нам этих дармоедов прислали?

Но эти парни имели самые широкие полномочия. Они распоряжались всем колхозом, составляли сводки, писали докладные.

– Тож, поихали на бахчу – хлопцам (это двадцатипятитысячникам) захотилось огирькив (огурцов), – стал рассказывать мне по-украински милый усатый сторож. – Показав де воны растуть, а воны нарвалы цилу корзину маленьких дынь. А воны ж таки гирьки, як полынь. А я кажу (говорю): так это же дыни, а не огуркы, огуркы чуть-чуть дальше растуть. Ну и робытничкив нам поприсылали, воны думають, що на вербы груши растуть.

Колхоз им. Сталина в прошлом был огромной помещичьей усадьбой: чудесные постройки, огромный запущенный сад. Здесь же были построены два двухэтажных дома – общежития для колхозников, и мне стало так грустно смотреть на эти убогие колхозные жилища.

– Убрали бы, – посоветовала я.

– Чего убирать – нема ни мыла, ни белья, – недовольно проворчала женщина.

В эти годы многие еще стирали просто глиной вместо мыла. А это был то время большой образцовый колхоз.

Подходила к концу красивая, но тяжелая весна, все деревья пышно распустились, рано утром чистые политые улицы издавали нежную томную прохладу. В киосках появилась ароматная сирень, ландыши, фиалки, от томящей теплоты, звенящего воздуха и аромата цветов хотелось жить, жить и жить.

На вокзале ко мне присоединились эти же два двадцатипятитысячника. Они явились на вокзал с двумя огромными свертками газет. В дороге газеты порвались и оттуда посыпались куски сахара.

– Куда вы сахар тащите!? – спросила я.

– Как куда – к себе! Давали нам по карточкам, вот мы и взяли по дороге сюда, когда вернемся, его уже не будет.

Газета порвалась, бумаги ни у кого не было, пришлось собирать сахар в носовые платки и в фуражки этих парней.

Вот в таком виде, с узелками и фуражками, наполненными кусковым сахаром, мы и явились в Мелитополе в окружком комсомола для вручения рапорта о наших достижениях. После того как материал был собран и рапорт о наших достижениях был вручен прибывшей из Джанкоя велоэстафете Севастополь – Москва, я зашла к представителю окружкома по высшему образованию Василию Величко и заявила, что больше никуда не поеду, навидалась столько, что мне на всю жизнь хватит.

Я искренне возмущалась, почему там, наверху, никто понять не может, что здесь творится, ведь люди гибнут.

Итак, спустя почти 10 лет после гражданской войны, под *мудрым* руководством, вместо расцвета сельского хозяйства и улучшения благосостояния населения наступил жестокий голод. Страна перешла на карточки, которые выдавались не всем, и в основном только рабочим в больших городах, в провинции народ переживал невероятные трудности и умирал от голода. Также не хватало обуви, одежды и многих других предметов первой необходимости, мыло, зубная паста превратились в дефицитный товар.

Закрывались кустарные производства вплоть до сапожных мастерских, кому они мешали? Для чего правительству надо было взваливать на себя заботу о каждой мелочи, от иголок до набоек, а населению бегать по магазинам в поисках всякой мелочи, вместо того чтобы заниматься крупными хозяйственными делами? Это был сплошной бред сумасшедшего, и этого человека вся страна начала превозносить до небес, и самое страшное было, что он все это *принимал* в полной уверенности, что он действительно незаменим и все, что он делает и что делается вокруг него, не подлежит никакой критике.

Абитуриентка

А я никак не могла понять, почему наш первый пятилетний план, который начал осуществляться с таким энтузиазмом осенью 1928 года, стал вдруг осуществляться в условиях *напряженной классовой борьбы?* Почему, классовая борьба вместо того, чтобы утихнуть, через 10 лет после Октябрьской Революции вдруг *вспыхнула* и стала напряженной. Почему не подождали, как настаивал Ленин, не подготовили техническую базу, ее же не было, не постарались поднять культурный уровень крестьян, чтобы и им *понятно* было, что же происходит с ними и ради чего, нарушив уже веками установленный образ жизни, их тащат в какую-то неизвестность. Ведь это же не неодушевленные предметы, а взрослые солидные люди, которых тоже переставлять надо с умом, а не силой, ну об этом хоть кто-нибудь должен был подумать.

Выслушав меня, Величко горько улыбнулся и спокойно ответил:

– Не горячись. Мы писали уже все и срочно, и секретно, но мы должны выполнять полученные из центра директивы, я вот жду заместителя. Я в партии с 1917 года, и то ничего не пойму, а ты и не старайся.

Перед ним лежала открытая газета «Правда». Он протянул мне объявление из газеты.

– Вот возьми. Поезжай-ка учиться, я тоже подал документы в МГУ (Московский государственный университет).

Дома я развернула и прочла, подчеркнуто было: «Открыт прием в Институт цветных металлов и золота» (бывший факультет Московской горной академии). Дело новое, интересное, специалистов мало в этой области, – вспомнила я слова Василия Величко. Мне показалось даже забавно стать инженером вместо летчика или капитана, о чем я всю жизнь мечтала.

Несмотря на мою неудачу в летном деле, я по-прежнему крепко была влюблена в воздух, но ждать два-три года было глупо, и я решила не терять время. Всю прошлую зиму я занималась в каком-то коммерческом техникуме в Геническе и одновременно на девятимесячных курсах по подготовке в вуз – и соображала, куда же мне дальше податься. Идея о Московском институте цветных металлов мне понравилась, и я решила: позанимаюсь в институте, если что не так – уйду и посвящу себя летной карьере, кто мне помешает?

Тогда мне казалось все доступно, легко и просто, не понравится – перейду в другой. Мысль, что могут куда-то не принять, мне даже в голову не приходила. Но 1930 год был буквально годом паломничества в высшие учебные заведения.

Я быстро собрала, как мне казалось, все необходимые документы: справку из коммерческого техникума, справку об окончании 9-месячных курсов по подготовке в вуз – эти курсы были организованы для тех, кто во время гражданской войны прервал учебу, и сейчас, освежив в памяти свои прежние знания, мог продолжить учебу; рекомендацию от комсомольской организации и все. О да, еще заявление с просьбой принять меня в институт. Вот с такими четырьмя-пятью справками, написанными по-украински от руки на страницах из школьных тетрадей (в те годы шла усиленная компания за всеобщую украинизацию) с подписями, которые даже я разобрать не могла, послала все эти «документы» в Москву и решила сразу же помчаться в Мариуполь.

Гибель Зои

В последнее время письма от Зои были очень грустные, я чувствовала, что все мужество ее покинуло, что все настоящее и будущее ей кажется беспросветным. В одном из них она написала мне: «Только что я окончила читать Достоевского «Преступление и наказание», прочти, обязательно прочти эту гениальную книгу». Вернувшись рано домой, я уткнулась в нее, и уже под утро, когда рассвело, с трудом оторвавшись от нее, охваченная омерзением и ужасом, я выбросила эту книгу. Зачем, зачем, надо копаться в душе людей, выворачивать ее на изнанку. Достоевский, как будто схватив за кончик ниточки, тянет, тянет безжалостно, нудно, с ноющей болью тянет, стараясь размотать, вывернуть психологию человека наизнанку до конца.

Я написала ей: «Милая Зоя, пожалуйста, выкинь из головы эту жуткую достоевщину, я скоро приеду, и мы что-нибудь, придумаем. Что можно было придумать? Когда в это время по новым правилам черным по белому было написано: запретить зачисление в вузы и втузы лиц, лишенных прав, и их иждивенцев. Вот эта молодежь как раз и была теми иждивенцами, которые росли уже при советской власти. Какие «умники» придумали и зачем этот чудовищный закон? Я знала Зоин характер, прямой, честный, и я знала, что она ни на какие сделки со своей совестью не пойдет, как бы я или кто-либо другой ее не уговаривали.

С такими грустными мыслями я ехала по безграничным украинским просторам. Куда ни кинешь взор – всюду расстилались богатые плодородные степи, урожай в этом году предполагался исключительно богатый.

Я уже приближалась к своим любимым местам. Радовала взор и волновала каждая знакомая деталь. Внешне все было так же, как и прежде. Так же, как и прежде, под равномерный стук колес мелькали, то опускаясь, то поднимаясь, вдоль тропинок телеграфные столбы. Пролетали бахчи, огороды, поля. Я уже знала, кому что принадлежало. Чахлые деревца, цель которых заключалась в том, чтобы зимой предохранить железнодорожное полотно от снежных заносов. Летом в знойные дни они были любимым местом наших прогулок и пикников на этой безлесной, лысой степной равнине. Вот и последняя контрольная будка промелькнула мимо, стукнули колеса вагонов на стыках рельс, и уплыл куда-то седоусый старик с зеленным флажком в руке, что означало «путь свободен». Не было сил сидеть на месте. Как же я хотела, как прежде, встретить вместе с Зоей всех друзей. Я вспомнила все, что произошло в прошлый мой приезд, и жуткая боль пронзила меня.

Мне вдруг показалось, как будто откуда-то надвинулась какая-то страшная сила, изменила, разрушила все, сломала самое основное, самое главное в жизни, ее уклад, ее спокойный мерный ход, привычки и все то, что составляет и из чего складывается радость жизни. О, как бы я хотела, чтобы здесь все, все осталось по-прежнему, радостно и весело.

Поезд остановился, я вышла на пустой перрон, меня никто не встречал. Что-то недоброе кольнуло меня. Две женщины привлекли мое внимание:

– Такая молоденькая, и хотела броситься под паровоз, но машинист ей пригрозил. Так она ответила ему: «я пошутила», и бросилась под последний вагон.

– Какая же сила была у нее, – ответила вторая женщина, утирая слезы. – Молодая, красивая, и что же это толкнуло ее жизни себя лишить?

Как будто электрический ток пробежал у меня по всему телу от этих слов. Девушка, молоденькая… Я помчалась к сестре моей матери: «Что случилось?» – хотела спросить. Но… взглянув на нее, я поняла все. Она никак не могла прийти в себя.

Похороны Зои превратились в огромную демонстрацию. Здесь были молодежь и старики. Даже комсомольцы пришли, несмотря на то, что комсомол официально осуждал самоубийство как малодушие, недостойное комсомола. Ребята собрали оркестр и по дороге на кладбище играли похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой…». Этой пытки я не могла выдержать. Эта песня была для Зои и меня символом беззаветной борьбы за счастье народа. Эта песня вдохновляла людей на совершение бессмертных подвигов.

«За что погибла ты, Зоя, за что растерзали твое юное тело колеса безжалостного поезда? – думала я. – Разве тебе не было места среди нас, молодых…» Я опомнилась лишь тогда, когда у засыпанной цветами могилы остались только ее брат Юрий, я и Коля, любивший ее также крепко, как и все мы.

Так много цветов на могиле, почему же в жизни было так много горечи и боли?

К нам подошла согнутая почти вдвое старушка. Из глубоко впавших глаз лились слезы. Она опиралась левой рукой на палку, правой крестилась.

– Похоронили горемычную без священника, – причитала она.

Эта старушка жила недалеко от того места, где погибла Зоя. Она говорила с ней буквально за несколько минут до ее смерти.

– Она все мне рассказала и жаловалась, что для нее ничего не осталось кроме смерти. А я ей бедняжке говорю: «Красавица ты вон какая, твоя жизнь еще впереди, перемелется, мука будет», – а она как зарыдает: «Не могу больше, ведь если кто-нибудь возьмет на себя смелость помочь мне, с ним случится то же, что со мной, а это страшно». Она ушла, а через полчаса я услышала, что девушка под поезд бросилась…

По дороге обратно я с горечью вспоминала, как Зоя из пионеров тоже была переведена в комсомол, и она писала мне: «Что может сравниться с тем чувством, которое испытала я. Наши отцы освободили нашу страну от тиранов, они завоевали нам нашу свободу и счастье, но нам с тобой, на нашу долю выпала не меньшая, а может быть *большая честь* – строить новую жизнь. Мы с тобой обязаны построить такую *фантастическую* жизнь, в которой не будет ни одного безрадостного лица. Я пишу это тебе, т. к. знаю, что ты меня поймешь. Мне так много хочется сделать, во мне столько силы и энергии, что кажется, ее хватило бы горы свернуть».

Это писала Зоя в 1927 году, когда ей было 15 лет, а в 18, потрясенная всем произошедшим не только с ее семьей, но и с тем, что происходило вокруг нее, покончила жизнь страшным, трагическим образом. Так покончить жизнь не может малодушный, слабый человек, как нам твердили, так покончить с собой может только человек с глубоким разочарованием в жизни и, самое страшное, с чувством разбитых растоптанных надежд и нестерпимо тяжелой болью в груди: «За что?».

За что были бессмысленно жестоко разбиты, разрушены семья из восьми человек и миллионы других подобных семейств, молодых, крепких здоровых тружеников? Превратили их во «врагов народа», «лишенцев» в своей стране. За что?

За то, что люди трудились, не покладая рук, для себя и для других, стараясь вытащить нашу страну из того тяжелого состояния, в котором она находилась после войны, после голода, разрухи – ведь от такой семьи, от таких хозяйств никакого вреда советской власти не было, только польза. Эта смерть тоже лежит на счету сталинских *убийств.*

Подкулачник

В поезде ко мне подсел пожилой человек, который тоже очень горько сетовал на свою судьбу:

– Та какой же я «подкулачник» – вот этими руками я всего добился. У меня три сына, все они как волы работали. Я радовался – наша власть пришла, еще немножко поработаем вместе, потом женю сынов, отделю их, построят себе дом и будут так же, как и я, хлеборобами, уж очень все они землю любили – вставали чуть свет и в поле. Когда я был малым хлопцем, я батрачил у немцев. Какие ж они хозяева! Там я и научився хозяйнуваты. Если бы был жив Ленин, никогда бы этого не произошло, он никогда бы этого не допустил, – закончил мой собеседник.

И я вспомнила, как сокрушался мой отец, когда умер Ленин:

– Теперь начнутся склоки.

Сама я, будучи свидетелем того, что происходило у меня на глазах, никак не могла понять, для чего необходимо было *уничтожить как класс* самое здоровое, трудолюбивое, зажиточное крестьянство. Ведь это не были кулаки-кровопийцы, какие существовали до революции, которые сами ничего не делали, а на них работали наемные рабочие, которых они эксплуатировали и которым платили гроши за их *каторжный* труд, в то время как сами прохлаждались по заграницам. Ничего подобного я нигде не видела. Это были тяжело работавшие крестьяне со своими семьями.

Господи, и до чего же был Ленин во всем прав! Ведь все яснее ясного: при *сытом здоровом крестьянстве сытым и здоровым был бы рабочий класс.* И коллективизацию можно было бы проводить тихо, спокойно, постепенно, на добровольных началах по ленинским заветам, а не теми жестокими, пожарными методами, которые применил Сталин, доведшими людей и страну до повального голода. Неужели он не помнил или забыл, что народ в 1917 году восстал против голода и нищеты, он требовал «хлеба и свободы» и во имя этого совершил революцию, и боролся за *народную советскую власть* в глубокой надежде, что при

этой народной власти каждый будет сыт, получит «хлеб и свободу», избавится от нищеты и сумеет добиться успеха по способностям?

Бухарин, Рыков, Томский выступали в это время с теорией затухания классовой борьбы и даже мирного врастания кулака в социализм. Да какие это были «кулаки»? Тех, кого я видела, были просто крепкие, зажиточные, трудолюбивые крестьяне.

Ведь смычка рабочих и крестьян совершила революцию. Люди воевали за землю, за волю, за лучшую долю, и это привело к победе в самых страшных условиях гражданской войны.

Эта же смычка вытянула страну из кризиса после гражданской войны. И она бы вознесла Советскую власть на недосягаемую высоту, весь мир содрогнулся бы перед ее могуществом, мудростью и силой. Ведь так и должно было быть. И этого все народы мира от нее ожидали и только враги этого боялись.

Снова в Македоновке

Прошло несколько лет, прежде чем я заставила себя вновь посетить мою любимую Македоновку.

Коллективизация закончилась, и по всей стране на все мотивы начали распевать песенку на слова Сталина из какого-то его выступления: *«жить стало лучше, жить стало веселей»*.

Я вышла из поезда на пустой перрон. Вдали белели оголенные под лучами горячего солнца дома, утопавшие раньше в прохладе роскошных садов. Грустной тишиной встретило меня это когда-то цветущее село. Ни души на улице, ни одного звука не доносилось из домов, даже лая собак нигде не было слышно.

– Где люди? Где молодежь? – спрашивала я у бабушки. – Куда делись сады, цветы?

– Цветы сажать некогда, люди заняты с утра до ночи. Сады вырублены на топливо в зимнюю стужу, а молодежь разбежалась.

Вечер, откуда-то начали появляться какие-то незнакомые тени людей. Проходили мимо, не глядя по сторонам, устремив усталые лица в землю, и исчезали, как привидения. Вместо обычного богатого стада прошло несколько тощих коров. Люди перестали держать скотину, ее надо было кормить – не было корма, за ней надо было ухаживать – не было времени и сил.

Ни от обычного вечернего оживления, ни от былого шума не осталось и следа. Только ленивый дымок, выходивший из редких труб, указывал на какие-то признаки жизни в этом совсем недавно таком оживленном богатом селе.

Настала ночь. Темная, южная ночь. Небо усыпано огромными яркими звездами. Ни одного огонька в домах, на селе. Народ, не зажигая света, ложился спать засветло, не было даже керосина.

Я стояла на дворе и думала: «Боже, какая тишина, как на кладбище…» Постояв несколько минут и подавляя в себе внезапно вспыхнувший страх, бросилась к дому.

Какая-то тень вдруг отделилась от крыльца и испуганно отбежала в сторону.

– Кто здесь? – окликнула я.

Тень молчала…

Вздрогнув, я быстро вбежала в дом.

И невольно вспомнила нашу шумную, веселую компанию молодежи, мы собирались вечером всегда вот здесь, у нашего дома, и до полуночи обсуждали те вопросы, которые волновали всех нас, строили планы на будущее и, разойдясь, с нетерпением ожидали следующей встречи, на следующий день, чтобы все обсудить и решить все неразрешенные нами вопросы до конца.

С этими грустными мыслями я уснула.

Проснулась я утром, на той же постели, на которой спала я в далеком детстве.

Солнце заливало ярким светом ту же любимую комнату. В этой комнате все было по-прежнему. Я улыбнулась – как здесь хорошо! И вдруг вчерашний день вспыхнул в памяти, как кошмар.

В пустом дворе бродило несколько курочек. Печальные грядки на огороде. Одинокая унылая акация на углу дедушкиного дома. Под акацией с детства еще знакомый камень. Такой красиво обтесанный, как будто остался здесь еще с ледникового периода, на нем сидит обросший оборванец, и рядом дедушка о чем-то уговаривает его.

Глаза этого человека пугливо бегают по сторонам, и на мгновение останавливаются на мне. И вдруг все лицо напряглось, в невероятных усилиях воспоминаний.

– Кто она? – шепотом спросил он у дедушки.

– Дмитрий Васильевич? – вскрикнула я, опустившись перед ним на землю. – Я Нина, Нина, ты помнишь меня?

Он махнул головой, не то давая понять мне, что вспомнил, не то отмахнулся от каких-то тяжелых дум, и произнес хриплым, чужим голосом:

– Табачок бы мне, закурить…

Я сунула ему пачку папирос, и, еле сдерживая рыдания, твердила:

– Дмитрий Васильевич, вспомни, я Зоина подруга – Нина…

Лицо его исказилось невероятной болью:

– Зои нет у меня… Нет Юры, нет Васи, нет Марии, нет Василисы. Весной старуха умерла… Я вот один стерегу свой дом…

О, это было ужасно…

Замечательный когда-то дом, с огромным садом, окруженный цветами. Великолепный чистый, ухоженный двор, покрытый чистейшим желтым песочком, с огромной крытой террасой, где мы с Зоей любили спать в жаркие душные ночи и болтать о наших будущих планах почти до утра, превратили в колхозную кузницу, а теперь здесь были просто развалины, где по ночам дико хохотали филины и совы.

– Кто ты? – вдруг снова обратился он ко мне…

– Я, Нина, ну вспомни, вспомни меня… – умоляла я.

– Пойдем, позавтракаем, – дедушка тронул его за плечо. Но он, пугливо оглянувшись вокруг, быстро встал и ушел.

– Вот так уже полгода, – со вздохом произнес дедушка, глядя на удаляющуюся фигуру. – С тех пор, как умерла Анюта (жена его). Чем только он живет? Покормить его мне стоит больших трудов. Зайдет в село, попросит закурить и снова куда-то исчезает. С ним это произошло еще в лагере.

Я быстро уехала из этого кладбища живых покойников. И еще долго не могла освободиться от гнетущего душу кошмара.

Весной, когда растаяли сугробы, труп старика (замечательного гордого человека) нашли в развалинах его собственного дома.

Так исчезла, так погибла прекрасная, трудолюбивая, крепкая, здоровая семья, которой надо было просто гордиться.

И в таком маленьком, из 100 семейств, поселке почти половина семей была жестоко раскулачена. Никто из них не был кулаком-мироедом, никто из них никого никогда не эксплуатировал. Это были умные крестьяне, умевшие трудиться и любившие свой труд. Их талантливые дети – Коли, Пети, Мити, с которыми я так любила проводить лето, разъехались, разбежались, а их родители, став «лишенцами», были все сосланы.

Ведь люди работали с радостью, именно с радостью, это то, что я помнила до начала этой жуткой опустошительной коллективизации.

Колоски

Крестьяне все до последнего зернышка должны были сдавать государству, даже не оставляя ничего для собственного пропитания или для посева. Во многих местах хлеб стоял не скошенный, не обмолоченный, не было достаточно ни тягловой, ни человеческой силы. Обмолоченный хлеб свозили к элеваторам, а там, где их не было, свозили прямо к железнодорожным станциям и ссыпали прямо у железнодорожного полотна на землю под открытым небом, здесь он лежал до самой глубокой осени, гнил, прорастал под осенним дождем.

Я помню, как проезжая из Геническа до Мелитополя, я плакала, глядя на эти жуткие штабеля насыпанной под открытым небом пшеницы, от которых шел пар, и мой сосед грустно сказал: «Горит пшеница… Горит… Яйцо положи – сварится». И это было на Украине, и в то время, когда хлеб уже был дороже золота. Я никак не могла понять – что, наше правительство ослепло, не понимает, не видит, что происходит?

А вот, например, закон, изданный 7 августа 1932 г., «О борьбе с хищением и охране социалистической собственности», по которому нельзя было подбирать даже колоски, оброненные по дороге или оставшиеся после уборки урожая в поле, за это можно было получить 10 лет или ссылку в лагеря. Более циничного и преступного приказа нельзя было издать при здравом уме. Что же, в правительстве все с ума сошли?!

И к ответственности была привлечена женщина, которая приказ этот, по-видимому, и в глаза не видела, а просто шла с поля, подбирала упавшие по дороге колоски пшеницы, растирала их руками и, сдунув с них полову, зерна собирала в фартук. И вот за собранное таким путем полкило зерна получила 10 лет лагерей. Детишки также не имели право собирать колоски в поле или выкапывать мерзлую картошку из под снега, а в это время собранные овощи, для которых не было транспорта отвезти в город или тары для хранения, на глазах у колхозников погибали, а колхозники, на основании этого идиотского закона, не имели права взять даже один огурец из этого гниющего имущества, принадлежавшего колхозу. Вот скажите, пожалуйста, кто может и кто должен *полюбить* эту сталинскую власть?! И идея тех, кто издавал и кто поощрял издание этих законов и заключалась в том, чтобы вызвать ненависть народа к этой власти.

Я помню, как дедушка с неугасимым юмором рассказывал:

– Зима была суровая, а топить нечем, заболела бабушка. Вот я и решил: была не была, пойду в поле набрать соломы (колхозная солома после молотьбы оставалась в поле) и хоть воды горячей вскипятить. Иду обратно, тащу эту солому и жизнь проклинаю, а навстречу мне председатель колхоза:

– Ты что же несешь, Иван Семенович?

– Разве не видишь, помидоры.

– Не помидоры, а солому.

– Так чего же ты спрашиваешь?

– А за расхищение государственной собственности!

– А по твоему что, люди это что, не государственная собственность, пусть, значить, замерзают?

До такого абсурда доходила жизнь.

Я любила, когда выступал Н. И. Бухарин:

– Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. Только идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть беднота, мы должны теперь вести такую политику, в результате которой у нас беднота исчезла бы.

Поистине золотые слова.

Как можно было опираться на бедноту и душить тех, кто, тяжело работая, кормил всю страну и эту бедноту. А бедноте, как предлагал Бухарин, надо было помочь разбогатеть, организовав для них колхозы и совхозы и предоставив им займы и всевозможные льготы в такой степени, чтобы они не только поднялись до уровня «кулаков», но даже превзошли их. А все так называемые «кулацкие» хозяйства надо было оставить в покое, пусть даже под контролем государства.

Так была «убита курица, несущая золотые яйца», по выражению Н. И. Бухарина.

А со всех сторон уже шли тревожные вести: помираем от голода…

Преданность и предательство

Воскресший Азеф

АЗЕФ – (это имя – синоним предательства) это тот тип, который в течение 15 лет, в конце девятнадцатого и начале двадцатого столетия был главой сильной, жестокой, страшной и самой беспощадной террористической организации ЭСЕРОВ. На счету этой организации не только убийство министра внутренних дел В. К. Плеве и великого князя Сергея Александровича, а многих, многих других. И одновременно он же был в течение этих 15 лет активным агентом царской полиции.

Но самым невероятным было то, что этому предателю, провокатору настолько глубоко верили и доверяли все члены этой организации, что привлекли к суду за клевету не провокатора, а того человека, кто разоблачил его.

Так же и в отношении Сталина, я где-то прочитала, что в старых дореволюционных полицейских архивах кто-то нашел *контракт* с фотографией и несколькими доносами И. В. Джугашвили, и что вот этот самый И. В. Джугашвили был провокатором и работал на царскую разведку. Тогда мне это показалось это чудовищным и неправдоподобным.

Но теперь мне кажется вполне возможным, что этот Сталин, а прежде И. В. Джугашвили, будучи в прошлом тайным агентом полиции (трудно в это поверить? – но это ведь факт), так же крепко захватил власть в свои руки, стал самым жестоким террористом. И якобы стараясь изо всех сил уничтожить всех врагов партии, хочет показать всем, что он один является самым *правоверным* коммунистом и все те, кто не с ним, «враги народа» и должны быть ликвидированы. И поэтому настойчиво, упорно и методично, без передышки, начал убирать всех со своего пути, отправляя на расстрел одного за другим, не успев еще даже дочитать им приговор. Ведь стоит только взглянуть на списки тех, кого он оставил в живых, чтобы ясно было, что не о компартии он беспокоился, а о том, кем ему было легче и проще манипулировать.

Сталин, как только начал бороться с Л. Д. Троцким за власть, создал достаточно крепкий раскол в рядах членов партии.

И в то же самое время силы, враждебные советской власти и ее *настоящие* враги, которых тогда было много, очень много и которые всегда без устали стремились, не жалея средств, уничтожить советский строй, тоже решили, что все это легче и проще всего можно сделать с помощью Сталина. Надо только найти и подобрать к нему ключ.

И как только они поняли, что все, что он делает, он делает из-за *страха* потерять власть, а не из идейных соображений, они прямо или косвенно стали *внушать* ему идеи, которые рано или поздно привели бы к дискредитации Советского Союза и, в конечном счете, к распаду. Сначала потихоньку, а постепенно все увереннее и увереннее подливали масло в огонь, а он, постепенно набираясь сил, начал освобождаться от трусости и, захватив уже власть в свои руки, становился все жестче и беспощадней, уничтожал самых умных, самых образованных, потому что сам-то он был неуч, никто не должен был быть выше него.

А также, используя его мнительность, враждебные силы старались убедить его в том, что он окружен внутри страны врагами, что они могут разоблачить его прошлое, и, как будто по заказу свыше, всякого рода подхалимы стали воспевать его до невероятной степени. Я однажды подсчитала: на одной странице газеты «Правда» имя Сталина было упомянуто *сто девятнадцать* раз. Его обожествили, превратили в какого-то земного небожителя, а он, упиваясь своим величием, начал упрямо выполнять все, что ему как будто кто-то подсказывал, с кем и как нужно расправиться, кого и как уничтожить. И никакое антисоветское правитель-

ство в мире не могло, *не способ*но было бы с такой точностью убрать все лучшие кадры и оставить все ничтожества.

До сих пор также трудно понять. Но ведь кто-то внушил ему эту страшную, бесчеловечно дикую идею коллективизации и что это надо сделать вот *сейчас, немедленно, без передышки.* И что вот сейчас, в такое критическое время, в начале усиленной индустриализации и полной *технической* неподготовленности сельского хозяйства, необходимо немедленно приступить к проведению такими варварскими методами, с такой бесчеловечной жестокостью коллективизацию с полной ликвидацией кулачества как класса. Ведь было абсолютно ясно, что это приведет к полному развалу сельского хозяйства в стране и экономическому развалу страны в самый смертельно опасный момент усиленной индустриализации страны и в самый лучший, самый благополучный момент развития сельского хозяйства. То есть *полностью разгромить,* разрушить сельское хозяйство и создать самый страшный голод в стране.

Я не помню, чтобы я встретила *хоть одного* человека, который согласился бы с этим безумием, но все выполняли приказ свыше даже со слезами на глазах. Вот скажите, кому и зачем это было нужно? Значит, кому-то надо было создать такие условия, при которых легко было разгромить, разрушить очень успешно развивающееся сельское хозяйство страны и создать повальный голод вплоть до людоедства. Ведь даже для того, чтобы переехать с одной квартиры на другую, требуется время и силы, пока все увяжется, уляжется, расставится по местам и человек начнет нормально трудится. Как же можно было в такое ответственное время усиленной индустриализации устроить такой переворот, такое землетрясение в сельском хозяйстве страны? Полностью разрушить сельское хозяйство страны?

И вот опять, зачем, почему, кому и для чего нужна была такая пагубная спешка? Ведь никто никуда убегать не собирался. И всем было ясно, что если это мероприятие нужно провести, то для этого было достаточно времени и это можно было проводить более цивилизованным образом, так, как предлагал В. И. Ленин еще до своей смерти, а затем Бухарин, Томский и многие другие.

Но тогда *не было бы* искусственно созданного голода и гибели миллионов, миллионов советских людей, тогда не было бы голодных рабочих, и на работу рабочие шли бы радостно, оставив дома сытую семью и детей, тогда не было бы у миллионов советских людей такой ненависти к советской власти, все бы были счастливы. А тем, кто дирижировал всем этим сверху, как раз и нужно было, чтобы все было *наоборот.* Им надо было *вызвать ненависть* у народа и довести ее до точки кипения. Я до сих пор помню, когда голодные рабочие в Красноуральске забастовали, как я в кабинете директора комбината, захлебываясь от слез, кричала, что так нельзя, что это преступление, что нельзя морить рабочих голодом.

Нам надо честно и прямо признаться, что вся власть в стране и наша компартия, в силу абсолютного отсутствия опыта и по несчастному стечению обстоятельств, попала после смерти Ленина в руки Сталина, такого же предателя, как Азеф.

Ллойд Джордж в книге «Правда о мирных договорах», издание 1957 года, пишет: «… еще в самые первые дни появления на свет советской власти в начале 1919 года, в самый разгар Гражданской войны в России, на Мирной конференции глав правительств капиталистических государств, состоявшейся во Франции в Париже, обсуждался вопрос "Как бороться с большевизмом". И Ллойд Джордж высказал свое мнение, что большевизм *«не сокрушить речами».*

А дальше идут в той же книге Ллойда Джорджа «Правда о мирных договорах» выдержки откровенных записей дебатов, происходивших на Мирной конференции в Париже в январе 1919 года: «…надежды на то, что большевистское правительство будет свергнуто, потерпели несомненное крушение». «Крестьяне боятся, что все остальные группировки, если это им удастся, *восстановят* старый режим и отнимут у них землю, которую дала им

революция»; и дальше – «Станем ли мы тратить свои силы на поддержку *кучки* крупных помещиков против огромной крестьянской массы»? (Там же, с. 288–289). Обратите внимание, это было в 1919 году.

И среди целого ряда высказанных планов, как сокрушить большевизм, был и такой: «…создать вокруг большевистской территории своего рода санитарный кордон, а затем *уморить большевизм голодом»*... (Там же, с. 298).

Г-н Орландо, итальянец, поддержал это предложение и заявил: «…санитары предлагают соорудить санитарный кордон, потому что *изолировать* большевизм – значит победить его». И вот они с математической точностью с помощью Сталина выполняли план, разработанный ими еще в 1919 году, а *Сталин крепко и целенаправленно долгие годы помогал* им тем, что сам соорудил санитарный кордон и уморил миллионы советских людей голодом.

Партия претворила в жизнь «гениальный ленинский» кооперативный план. Так писали в газетах. Но это было вранье, если бы Ленин видел, как все это претворялось в жизнь, он бы перевернулся несколько раз в гробу. У него было слишком большое чувство ответственности за судьбы людей и за их благосостояние, и он не посмел бы пойти на такое преступление.

Сталин также заявил: «была успешно решена ТРУДНЕЙШАЯ, после завоевания власти РАБОЧИМ КЛАССОМ, историческая задача социалистической революции…». А где же было крестьянство в момент завоевания власти? По Сталину выходит – крестьянство в этом не принимало участия? А чьи же тогда сыновья воевали?

Но не успела закончиться эта страшная голодовка и как будто начала чуть-чуть налаживаться жизнь, как начались жуткие судебные процессы. У Сталина или у тех, кто держал его в своих «ежовых рукавицах», тоже были свои планы: не давать никому передышки, ковать железо, пока горячо, и, выполнив успешно первое задание, приступить к выполнению второго. Уничтожив, разгромив самую лучшую продуктивную часть крестьянского населения, что уже явно нанесло очевидный вред стране, теперь надо было уничтожить самых лучших людей, дав им кличку «враги народа». Так что же, это все тоже произошло просто так, *«непродуманная ошибка»*?!! Или «*промахи»*?!!

А мне кажется, что это тоже был где-то кем-то хорошо продуманный и разработанный план создать невыносимые условия работы, подорвать нашу экономику и как можно сильнее дискредитировать наш строй.

А что, если бы не Сталин?

Все достижения, которых добился народ нашей страны и которыми мы гордились, были созданы не благодаря сталинской политике, а вопреки ей. И если бы сталинская политика не была помехой, наша страна при *советской системе* стала бы самой передовой, самой справедливой, самой богатой и счастливой, да, именно счастливой страной в мире.

Почему, зачем Сталин все это должен был изменить, уничтожить, загубить? Кто был автор или авторы этого убийственного в то время мероприятия, которое вместо расцвета и благополучия довело страну до страшного повального голода 1930–1933 гг. и до людоедства?

Только враги – настоящие враги нашего народа могли додуматься и подсказать этому сумасшедшему сумасброду такую убийственную мысль. Я тысячу раз задавала себе этот вопрос. Ведь были другие пути и способы, более человечные и менее болезненные для проведения этой, по каким-то непонятным никому соображениям, столь неизбежной, столь необходимой именно в тот момент коллективизации.

И я невольно вспоминала отрывок из исторического романа Мордовцева: «Чего тут стараться, сама природа постаралась сколотить такую грудь, такие мускулы, вырастить такую косую сажень… Хороша была матушка, спородившая чадушко, да и природа, знать,

была не мачеха, что вырастила, вылелеяла, выходила такое тело славное молодецкое… Украина-матушка, хатка беленькая, чистенькая, садочек вышневый, вербы шумливые, «гаи зеленькие», поля цветливые, солнышко жаркое да приветливое, реки с берегами густозелеными, ночи чудные, песни дивные – вот что вырастило, выхолило этого детину бронзового. Он ел вдоволь и пил воду из чистой криницы…»

Так описывал Мордовцев казака, взятого в рекруты с Украины. Так было и могло бы быть на Украине до начала коллективизации, после чего начали раздаваться с Украины вопли «умираем от голода, помогите»… Это был тот первый гвоздь, который вбил Сталин в гроб советской системы, советского государства и коммунистической идеи во всем мире.

Великое изобретение русского народа

В советской системе первой, новой, единственной во всем мире, так же как и во всех других системах мира, кроме положительного было много недостатков, которые надо было ликвидировать. Это была система, которую надо было стараться совершенствовать и улучшать, так как это было первое за всю историю, новое великое «изобретение» народа и для народа во всем мире.

Такое же великое, как изобретение первого колеса в истории. Да что там говорить, такое простое, с позволения сказать «изобретение», как чемодан на колесиках, я до сих пор не перестаю удивляться, почему таких чемоданов не было в мои студенческие годы, да и во время войны их не было, ведь колесо-то давным-давно было уже изобретено. Мы, надрываясь, таскали эти тяжеленные чемоданы. А здесь все хотели, чтобы эта новая, единственная в мире система была так вдруг освоена за какие-то десятилетия.

Ведь все наши великие фантастические идеи и изобретения, все фантастические достижения нашего двадцатого века потребовали от всех народов мира проведения невероятного количества удачных и неудачных экспериментов в течение не столетий, а тысячелетий.

Кто дал право Сталину так преступно дискредитировать самый лучший в мире строй, первый раз за всю историю человечества завоеванный и созданный простым человеком для простых людей – народный строй? Строй, созданный для блага всех людей, всего человечества, а не какой-то избранной кучки населения. И если бы не проклятое вмешательство Сталина, наша страна стала бы одной из самых богатых, самых цветущих и самых справедливых стран мира.

И на улучшение и усовершенствование этого нового строя, завоеванного народом для народа, необходимо было потратить несколько поколений.

Ведь, как говорил Ленин, брать нам пример не у кого.

И все то, что завоевал народ, и все то, чего он пытался достичь при этой совершенно *новой советской системе,* и многие другие блестящие, благородные идеи, за которые он боролся, ему удавалось удержать и сохранить страшной ценой, по существу, не имея ни одного спокойного дня и никакой поддержки ни от кого и ни откуда. В то время как все это должно было происходить в мирное время и при самом дружелюбном отношении к Советскому Союзу, к этому новому строю.

Но, к великому сожалению, никаких мирных условий и никакого дружелюбного отношения к Советскому Союзу никогда не существовало. Буржуазия, захватив богатства и власть во всем мире в свои руки, боролась против этой системы, не жалея средств на пропаганду, на подкуп и на диверсии.

А самое большое несчастье этого *беспрецедентного эксперимента* было в том, что правительство нашей страны возглавил не человек, болевший за страну и народ, а параноi-

дальное чудовище, для которого ничего святого на свете не было, кроме неукротимого желания любой ценой удержаться у власти.

И все достижения, за которые народ боролся, были не только обойдены, а были просто превращены им в деспотизм и тиранию. Ведь с тех пор, как он остался у власти после смерти Ленина, он не давал передышки никому.

Например, трудящийся народ Америки, да не только он, а все трудящиеся народы на нашей такой теперь маленькой планете, не отдают себе даже полного отчета, сколько пользы принесло им существование советской системы в Советском Союзе. Какие социальные перемены и реформы были внесены в жизнь каждого трудящегося во всех странах мира благодаря тому, что где-то появилась и существовала страна с советской системой, с названием Советский Союз.

Где народ, простой народ, научился управлять и, по существу, уже управлял государством огромной страны, в которой он завоевал такие привилегии, которых не было во всем мире: восьмичасовый рабочий день; бесплатное, доступное для всех образование; бесплатное медицинское обслуживание и лекарства; продолжительные отпуска; отдых в санаториях (вы только взгляните на фотографии, и увидите, кто отдыхал в наших санаториях); декретные отпуска для матерей и полное запрещение детского труда – и многое другое, как спорт и любые бесплатные занятия для взрослых, молодежи и детей в различных клубах, что воспринималось в Советском Союзе уже как должное, в то время как Европа, да и весь мир, только-только разворачивался.

Вот, например, цитаты из книги *«Правда о мирных договорах»* Дэвида Ллойд Джорджа, где он пишет что «…перемены, которые внесла Международная организация труда во многих странах, должны показаться невероятными». И дальше он приводит вот эти примеры (обратите внимание на годы).

«В Китае, по сообщению английского консула в 1924 году, нормальная продолжительность рабочей смены на хлопчатобумажных фабриках Шанхая, принадлежащих англичанам и японцам, составляла 12 часов»… На фабриках, принадлежавших китайцам – 14 часов. В другом городе 18-часовой рабочий день был самым обычным явлением. В некоторых местах рабочие отдыхали только 4 дня в году. Грязь на предприятиях была такая, что 70 процентов рабочих, занятых в спичечной промышленности, болели туберкулезом… И на таких предприятиях работали дети школьного возраста.

В Иране в ковровых мастерских работали дети в возрасте от пяти лет. Они просиживали целые дни в тесных, душных помещениях на узких досках без спинки, подвешенных к потолку; они не могли спуститься вниз, в случае надобности они должны были просить, чтобы кто-нибудь снял их». И это все происходило не в 1924 году, а даже еще позже.

Даже тогда, когда президент Соединенных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт в тридцатые годы во время кризиса собирался вводить в жизнь свой «Нью-Дилл» – «Новый курс», мероприятие, предпринятое для ликвидации смертельно опасного для американской «демократии» экономического кризиса, сопротивление буржуазии было настолько сильное, что он, обращаясь к американским предпринимателям, заявил: «Если вы не пойдете на уступки рабочим, вы рискуете потерять все, так же, как в России».

Я помню, как американцы, жившие и пережившие великий американский кризис, убеждали меня в том, что если бы не «Нью-Дилл» Рузвельта, здесь тоже произошла бы революция, и не менее жестокая и кровавая, чем в России. *И это было в начале тридцатых,* уже больше 15-ти лет после Великой Октябрьской Революции, а до этого, и даже позже, в Америке еще существовали так называемые sweat shops, то есть такие мастерские, где из человека выжимали все до седьмого пота.

И все колониальные страны мира должны выразить глубокую благодарность Советскому Союзу за свое освобождение.

Как у Христа за пазухой

В Москву, в институт цветных металлов и золота

Подходило к концу чудесное южное лето в теплом уютном городе Геническе.

Город постепенно пустел. На пляжах все меньше и меньше появлялось народа. Курортники и все приехавшие отдыхать, купаться и загорать отпускники рано разъезжались. С продовольствием становилось все хуже и хуже, да и цены становились менее доступными, и в поисках лучшей жизни местная молодежь стала быстро разъезжаться, кто куда. Большинство уезжало в большие города учиться, там и со снабжением было лучше. Рабочим выдавали 1 кг хлеба, служащим 600 г и кое-что из продуктов.

Я решила, не дождавшись ответа на мое заявление о приеме в Московский институт цветных металлов и золота, тоже ехать в Москву.

Я была так уверена, что меня примут, что другой мысли мне даже не приходило в голову.

Против моего решения ехать в Москву запротестовали родители, а особенно отец, он категорически заявил:

– Близкий свет Москва, где ни одной знакомой души нет. Никуда ты не поедешь.

– Подожди ответа, – упрашивала меня мама.

Мне было странно. Ведь я почти всегда, с детства, могла ехать куда угодно, и они относились всегда к этому спокойно. Полностью доверяли мне, и вдруг как-то «раскисли».

Отец первый раз в жизни холодно простился со мной. Брат тоже надулся: «Упрямая, ты все делаешь по-своему, даже если это огорчает родителей». Поцеловав меня, быстро убежал…

Мама крепилась, но я чувствовала, что ей было очень горько.

Почему всем так грустно? Я никак не могла понять. Я же еду на учебу в нашу родную столицу. Почему их так напугало мое решение? Ведь Шура тоже скоро уедет учиться, и они останутся одни. Им будет скучно без нас, но материально им станет немного легче, и они хоть разок сумеют воспользоваться отпуском и отдохнуть. Я вспомнила, что отец никогда-никогда не отдыхал, ему всегда было некогда.

С такими невеселыми мыслями я простояла в поезде у окна вагона всю дорогу до Мелитополя, пролетавшая перед моими глазами картина была удручающая. Недалеко от вокзала вдоль путей огромные бурты чистейшего зерна прели под открытым небом. От них шел пар, а кругом уже начала прорастать пшеница. Более преступного головотяпства нельзя было себе представить. Это было в годы бурной коллективизации, когда никто не знал по существу, куда ссыпать, куда сдавать зерно, когда не хватало или вовсе отсутствовали элеваторы, также как не знали, что делать с обобществленной, согнанной вместе под открытым небом скотиной без подготовленных убежищ.

Возле меня остановился пожилой мужчина и угрюмо произнес: «Горит пшеница, горит, яйцо положи – сварится». А я стояла, плакала и думала: зачем, зачем же такое творится у нас, когда хлеб уже становится дороже золота.

Мария

Очнулась я от этих невеселых мыслей, когда поезд остановился у вокзала в Мелитополе.

На перроне вокзала, как всегда, было оживленно, весело. По-провинциальному гуляли парочки, поглядывая с завистью на скорый «Севастополь – Москва», увозивший загоревших, закусанных комарами москвичей с курортов домой.

Здесь меня встретила веселая, шумная группа ребят, впереди всех с цветами бежала ко мне Мария, ребята за ней тащили чемодан, чайник и два арбуза.

Пассажиры, увидев такую веселую шумную компанию, с грустью подумали – прощай, спокойный сон. Но поезд тронулся и мы, распрощавшись, остались одни. Сразу стало тихо, моя неугомонная Мария тоже притихла. Она была старше меня лет на пять. К нам в дом влетала она, как вихрь, все вокруг нее смеялось и звенело.

Когда прошел первый бурный порыв нашей встречи, мы начали думать о нашем приезде в Москву. Ни у меня, ни у Марии ни родных, ни даже каких-либо знакомых в Москве не было. Мы, две наивные провинциалки, надеялись и думали, что нас примут в институт и тут же дадут нам общежитие.

Но все-таки, куда мы заедем прямо с вокзала? Не на улице же мы будем ночевать? Денег на гостиницу у нас, конечно, тоже не было. Да и попасть в гостиницу вот так, просто с улицы, без командировок и всяких прочих атрибутов было просто невозможно. Куда же мы заедем, хоть на одну ночь? К кому? Подсчитали наши капиталы. Их тоже было в обрез, в случае неудачи с трудом хватило бы добраться обратно домой.

Черт с ними, с деньгами. Как-нибудь не пропадем, а теперь – утро вечера мудренее – давай спать. В этот момент затормозил поезд и с верхней полки слетел арбуз и лопнул, как бомба. Сонные физиономии испуганно стали выглядывать с полок. Мария бросилась подбирать куски кроваво-красного арбуза. Пассажиры, поняв, что их жизни не грозит опасность, снова захрапели.

– Жалко арбуз, – заметила Мария, – но ничего, зато как он воздух освежил!

Рано утром, подъезжая уже к Москве, не успев еще глаза продрать, Мария вдруг весело завопила:

– Ты знаешь, мне пришла в голову гениальная идея! Одна знакомая моей мамы попросила меня передать вот это письмо какой-то ее знакомой даме.

– Ну и что? – удивилась я.

– Да как что? Вот мы с вокзала и поедем с этим письмом прямо к ней. Я надеюсь, что она войдет в наше положение и разрешит нам одну ночь у нее переночевать, а дальше видно будет.

Поезд затормозил, остановился, нетерпеливые пассажиры уже толпились у выхода. Нам было некуда торопиться, мы потихоньку собрались и последние вышли из вагона.

Провинциалки

Москва нас встретила плаксиво, небо было затянуто сплошной свинцовой пеленой облаков, шел мелкий, угрюмый дождик. На привокзальной площади стояла вереница промокших извозчиков. Мы решили взять одного из них. Чемоданы наши были тяжеленные, мы везли в них не одежду, а главным образом продукты: хлеб, масло, рыбу сушеную. Мы знали, что снабжение в Москве было по карточкам, а получить продуктовую карточку могли только московские жители или студенты с пропиской. Мы тоже надеялись получить их, как только станем студентами, а пока что… Подойдя к одному из извозчиков, Мария твердо произнесла адрес, написанный на конверте письма: «Тверская, 67».

Прокатав нас добросовестно, как нам показалось, за наши 15 рублей по ухабистым улицам Москвы, а взял он с нас в три раза дороже, как нам потом сказали, извозчик остановился у серого пятиэтажного дома на Тверской, 67.

В этом доме и жила знакомая знакомой Мариины мамы.

Когда мы поднялись на третий этаж и позвонили, нам открыла дверь молоденькая, лет 15-ти, девушка. Возле нее стояли двое ребятишек в возрасте четырех-пяти лет. Хозяйки дома не оказалось, она проводила свой отпуск на юге в Крыму.

Мы попросили у нее разрешения оставить вещи и, если можно, остаться переночевать.

Вся «квартира» состояла из одной чистой, уютной комнаты с хорошей мебелью, приблизительно 20–25 кв. м., в ней жила семья из пяти человек.

Оставив, с разрешения Наташи (так звали нашу новую знакомую), наши вещи у нее, мы тут же помчались: я – в бывшую Горную академию на Большую Калужскую, 14, Мария – в МГУ на Моховой.

В трамвае по дороге на Калужскую меня, провинциалку, поразила грубость москвичей. Как могут так грубо обращаться друг с другом совсем незнакомые взрослые люди?

Отказ

Огромное, с колоннами у входа здание Горной академии, выкрашенное в желтый цвет, было расположено в глубине двора, отгороженного от улицы высоким железным забором. У входа стояла будка, очевидно для сторожа, чтобы не растащили строительный материал, которым был завален весь двор. С двух сторон этого здания достраивались два новых корпуса.

Шесть главных факультетов Горной академии – горный, нефтяной, геологоразведочный, стали, цветных металлов и золота и торфяной – стали самостоятельными институтами. Количество студентов увеличилось почти в сто раз, но все они продолжали оставаться в одном здании Горной академии, под одной крышей. Снаружи общая картина была серая, неприветливая.

Внутри помещение мне так же показалось угрюмым. Какой-то сухой, мрачной ученостью веяло от этих полутемных аудиторий и коридоров, в которых еле-еле мерцал электрический свет.

Студенты, профессора, служащие пробегали мимо меня с занятым, озабоченным видом. Никому не было до меня дела. Чистая русская речь резала мне ухо. По-видимому, так же, как и им мой явно украинский акцент.

Я растерялась. Какие все чужие, неприветливые. Если бы в это время я вдруг услышала, как кто-то заговорил по-украински, я подошла бы к нему, как к старому знакомому.

Наконец объявление привело меня к цели, я прочитала: «Приемная комиссия». С громко бьющимся от волнения сердцем я вошла в кабинет. За столом, заваленным папками, сидел симпатичный молодой человек, один из членов приемной комиссии. Порывшись в списках и взглянув на меня, он грустно и ясно произнес: «Отказано».

Меня бросило в жар, у меня подкосились ноги.

– Отказали, не приняли. Почему?! – волнуясь, возмущенно спрашивала я.

– Очень просто, – ответил он, – большой наплыв, на каждое вакантное место подано почти 30 заявлений. Народ пожилой: парттысячники, профтысячники, все прямо с производства, с огромным производственным стажем, многие из них прервали свою учебу в силу различных обстоятельств во время или после гражданской войны. Надо всех обеспечить стипендиями. Нет общежитий – это главное. А потом, ты такая молодая, что тебе стоит подождать один-два годика.

Это я уже слышала не первый раз, слышала при отборе кандидатов в летную школу, и вот теперь.

Он отдал мне все документы. «Все документы» содержали: заявление с просьбой принять меня в институт, справку об окончании девятилетки, справку об окончании девятимесячных курсов по подготовке в вуз при каком-то коммерческом техникуме в городе Гени-

ческе и рекомендацию от комсомольской организации. Все написаны не на гербовой бумаге, а на листочках из школьных тетрадей в клеточку, без печатей, с какими-то неразборчивыми подписями, которые даже я разобрать не могла.

Шла сюда с надеждой, окрыленная, а вышла за ворота с подбитыми крыльями. Что же дальше? С чего начинать? К кому обратиться? В этом чужом, незнакомом городе. И потом, все доводы приемной комиссии были настолько убедительны, что казалось, нет никакой надежды переспорить, переубедить кого-либо. В этом году особенно трудно было встретить мало-мальски грамотного человека в возрасте до 40 лет, кто бы ни подал документы в какое-либо учебное заведение. В связи с развернувшейся индустриализацией страны и с усилением (почему с усилением, а не ослаблением, тоже было не понятно) недоверия к старым специалистам, правительство решило подготовить новых «красных» специалистов и широко открыло двери для всех желающих учиться.

Мысль о том, чтобы *вернуться домой,* мне даже в голову в эту минуту не приходила. Я уже здесь и должна добиться того, ради чего я сюда приехала. Да, но к кому я могу обратиться, с кем поговорить, кому объяснить свое положение в городе, где нет ни одного знакомого мне человека? И я, конечно, решила обратиться в комсомольскую организацию.

Безнадежное дело

И прямо из Горной академии на Большой Калужской, 14 я помчалась в ЦК ВЛКСМ. Здесь я настояла на том, чтобы меня принял не кто-либо, а сам Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Косарев.

Он выложил передо мной целый список институтов: педагогический, медицинский, какой-то кустарно-промышленный и еще какие-то, где тоже перебор, но куда все-таки легче попасть.

– Вот, выбирай любой. Может быть, туда тебе повезет.

– Но ты понимаешь, Саша (до чего же в те дни все было просто, не Александр Васильевич, а просто Саша, независимо от занимаемой должности, ведь мы – и он, и я – были комсомольцами, и это было главное), что я уже твердо решила: никуда, ни в какой другой, кроме того института, куда я подала заявление, не пойду.

– Желаю тебе успеха, но я ничем помочь не могу. Ты решила бороться за безнадежное дело. Передумаешь, заходи.

Из упрямства я решила: пойду по всем инстанциям нашего народного образования, где-нибудь, у кого-нибудь добьюсь того, чего я хочу, а именно, поступить и учиться в этом институте. Так я добилась приема у Андрея Сергеевича Бубнова – наркома просвещения, у его заместителя Эпштейна, у Надежды Константиновны Крупской.

Сейчас можно только удивляться, насколько простые, демократичные в то время, в конце двадцатых и начале тридцатых годов, были отношения с так называемым высоким начальством. Ведь я, девчонка, появившись откуда-то из глубокой украинской провинции, могла без всяких затруднений получить прием и попасть ко всем этим высокопоставленным лицам не по какому-нибудь чрезвычайно важному для человечества вопросу, а просто по вопросу важному в тот момент лично для меня. И я искренне считала, что все они для того здесь и сидят, чтобы помогать всем, кто к ним обращается вот в таких критических, как у меня, случаях.

До чего же просто было тогда попасть к кому угодно, никакой особой охраны, никаких заграждений. При отсутствии паспортов и вообще каких-либо вразумительных документов, верили так просто, на слово. Ведь вот у меня никаких, ну просто никаких документов не было на руках, чтобы, как говорится, доказать, что я – это я. И все меня без всяких затруднений принимали и отвечали на мои жалобы, что я вот приехала черт его знает откуда, а меня

вот не приняли в институт. И все мне вполне серьезно отвечали: «Ты стараешься попасть туда, куда невозможно попасть, где на каждое место подано десятки заявлений». Но, сейчас даже трудно поверить, я вспоминаю, что никто, ни один из этих высокопоставленных лиц не сказал мне, девчонке: «Это не наше дело, нас это не касается». Нет, они все терпеливо со мной разговаривали, старались убедить меня подумать и подать заявление в тот институт, куда можно легче попасть.

Марию Бинштok приняли в МГУ, но общежитие даже не обещали. Там тоже общежития были переполнены.

И несмотря на то, что все меня упорно отговаривали и старались убедить, что попасть в этот институт безнадежное дело и мне нужно примириться и подать документы в какой-либо другой институт, я упрямо решила подать заявление в апелляционную комиссию и ждать результатов.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей

Жить было негде. Мы целый день бродили, как бездомные, а вечером стеснялись идти ночевать к той милой Алле Сергеевне, которая даже после приезда с юга нас так мило приютила.

Несколько ночей мы спали на вокзале под видом транзитных пассажиров, несколько раз чуть ли не в какой-то пустой аудитории. И когда, мне казалось, мы дошли уже до точки, больше нет никаких сил, мы решили – ну все, я вдруг встретила во дворе академии Володю Корина, тоже из Геническа. Он был уже на третьем курсе нефтяного института, занимавшего левое крыло Горной академии…

– Вот здорово, никак не ожидал. Ты что же, решила к нам по цветным металлам и золоту? – широко улыбаясь, тряс мою руку Володя. – До чего же рад тебя видеть!

– Да, Володя, очень хотела, но не приняли. Мария тоже здесь, и мы уже подумываем как-нибудь потихоньку сматываться обратно.

– Обратно?! Ну, это дудки, не для того я тебя встретил, чтобы разрешить тебе ехать обратно! А ты брось хандрить, это тебе не к лицу. Правда, народ здесь суровый, неприветливый. Да не нам с тобой пугаться. Об отъезде слышать не хочу, никуда ты не уедешь, иначе учеба пиши – пропало. А там только рады будут, цап-царап и запрягут в комсомольскую работу, знаю я…

– Ты знаешь, мы уже бродим целую неделю, как бездомные собаки, негде умыться, переодеться, ночуем, где попало.

– Да… Москва может быть хуже мачехи. Вот, на тебе адресок, вечерком заходи к нам в общежитие на Никольской, что-нибудь обмозгуем.

И вот, вечером мы сидим в каком-то студенческом общежитии нефтяного института, тоже временном, и чаевничаем… Большая комната в старом, запущенном доме, два ряда железных узеньких кроватей, накрытых жесткими солдатскими одеялами. Под кроватями ящики, чемоданы, а посреди комнаты табуретка вместо стола, и на ней огромный чайник. На разостланной газете мелко наколотый сахар, маргарин, расплывшийся по газетной бумаге, хлеб, нарезанный огромными ломтями…

Володя наливал чай в большие жестяные кружки. Все пили, обжигаясь, угощали нас.

Это был обычный студенческий ужин.

– Вам, как прикажете, с лимончиком или так? – зубоскалил красивый грузин, передавая кружку с чистой горячей водой здоровому скуластому сибиряку.

– Лимончика? – переспросил тот, – это, я полагаю, что-то вроде клюквы нашей будет?

– Какая там клюква, – глаза грузина затуманились, видно, от воспоминаний о жарком юге. – Это, брат мой, цитрус – вечнозеленое растение, а аромат… – он поднес щепоть паль-

цев к носу, глубоко вздохнул, как будто держал этот ароматный фрукт в руке. – А аромат, какой аромат…

– Не понимаю, – глядя на его экстаз, произнес сибиряк, – вот ежели, к примеру, нашу клюкву, да после заморозков в рот возьмешь, так что твой сахар…

– Эх ты, клюквенный кисель, – как будто обиделся грузин. – Да когда твой сахар-клюква, в рот берешь, так наш Тифлис видать отсюда.

– Да к черту, хватит вам, а то и так уже слюнки текут, – прервал их угрюмый парень из угла.

Чайник пустел и несколько раз наполнялся из «Титана», стоявшего недалеко в коридоре.

Уже было поздно, голоса и шаги в общежитии давно утихли. На дворе лил противный мелкий дождь, кривыми струйками сбегали отяжелевшие капли по оконным стеклам, иногда задерживались, как будто задумывались, и бежали дальше. Эта грязная и накуренная комната, при мысли, что сейчас нам надо уходить в эту ненастную, темную ночь, казалась нам уютнее рая. У меня было только одно желание – свернуться в комочек и крепко надолго уснуть где-нибудь.

Мы встали, начали прощаться.

Володя, вдруг скомандовал:

– Ну ребята, выкатывайтесь из комнаты, нашим гостям спать пора. Вот вам кровать, – указал он на левый угол возле двери, – а мы вас сейчас загородим «японской ширмой».

Все ребята оживились, бросились отгораживать наш угол ширмой – старым одеялом. Володя продолжал:

– Встретил сегодня я Нину, и слышу: уезжать решили, деваться некуда.

Подошел сибиряк:

– Вы что же, девчата, москвичам на радость бежать решили? Они никуда не уедут, у них здесь все: квартиры, папы, мамы, и учиться будут, – и быстро вышел покараулить, чтобы случайно не пришел комендант общежития, так как оставаться в общежитии посторонним строго-настрого всюду воспрещалось.

Так за этой ширмой, которую вешали на ночь и убирали утром, мы прожили целую неделю и, кажется, даже дольше. Восемь студентов, со всех концов нашего необъятного Советского Союза, относились к нам тепло и внимательно, как к родным сестрам.

Откуда брались силы? Денег практически уже не было, даже три копейки на трамвай приходилось экономить, обувь износилась. Я заходила иногда в какие-то московские учреждения, где, я думала, могут помочь. У меня было странное отношение ко всем этим высокопоставленным учреждениям, такое же, как и к любому провинциальному учреждению. То есть, мне даже трудно сейчас все это объяснить, именно было чувство, что все эти люди сидят в этих учреждениях, чтобы выслушать и оказать, если они могут, какую-нибудь помощь тем, кто обращается к ним. Но пока никакого просвета ниоткуда не было. Домой я ничего не писала о своих мытарствах, не хотела расстраивать родных.

Мы с Марией долго искали «угол». «Угол» – это просто возможность у кого-то в комнате, в каком-нибудь углу поставить кровать или просто раскладушку, так же, как у ребят за ширмой, только за плату. Но не нашли, московские жилищные условия в то время были потрясающие. Я помню, как у кого-то в общей, закопченной, как пещера, коммунальной кухне я стояла и думала, какая бы я была счастливая, если бы мне разрешили вот за этой страшной плитой поставить раскладушку.

И в это время мне сообщили, что заседание апелляционной комиссии состоится в следующий четверг в Ветошном переулке, 13 и что всем нам предстоит небольшая переэкзаменовка, так как очень много желающих.

«Ну что ж, – думала я, – экзамены, так экзамены. Надеюсь, сдам, лишь бы учиться приняли».

У Марии занятия начинались только через месяц, и она решила уехать на это время в Харьков. Я осталась одна ожидать решения моей судьбы. Она увезла с собой свою неудержимую жизнерадостность, веселый смех, который подбадривал меня и помогал нам в самые отчаянные минуты наших с ней скитаний.

Отчаянный шаг

Со мной вместе экзамен сдавали человек 20. Все постарше меня, я была самая молодая из всех. Это были дети московской интеллигенции, успевшие закончить рабфаки, техникумы. В общежитии и стипендии, по-видимому, не нуждались. Я же окончила какие-то скороспешные девятимесячные курсы по подготовке в вуз. Переэкзаменовка была также одним из методов фильтрации для тех, кто подал апелляцию, так как во все институты принимали без экзамена.

Хотя экзамен прошел, кажется, нормально, я все-таки чувствовала, что у меня нет никаких преимуществ перед москвичами.

Когда меня попросили зайти в кабинет, где заседала апелляционная комиссия, я почти была уверена – это все. Откажут.

За столом сидели пожилые, солидные профессора, человек пять.

Первым долгом они попросили меня перевести им мои «документы» с украинского на русский. Я была удивлена, я думала, что им украинский язык так же понятен, как мне русский. Задали несколько незначительных вопросов, и после долгой паузы председатель апелляционной комиссии обратился ко мне:

– Вы знаете, что мы не можем обеспечить всех студентов стипендиями и общежитиями.

Но я не просила стипендию и общежитие.

– Да, слышала, – с глубокой грустью ответила я.

И вдруг он спросил:

– А вы можете дать нам расписку, что вы не нуждаетесь в стипендии и общежитии?

Я просто остолбенела – в моем положении давать такие расписки?

Я была уверена, что каждый сидевший здесь считал, что я, конечно, откажусь. Я могла ожидать всего, чего угодно, но мне даже в голову не приходило, что могут предложить такое в том жутком положении, в котором я находилась – без денег, не зная вообще, куда я пойду ночевать, выйдя отсюда. Родители мои, я знала, не могут мне помочь.

И я вдруг ответила, не то со злости, не то от отчаяния.

– Да могу!

И на предложенном мне клочке бумаги написала: «Прошу принять меня в институт без предоставления стипендии и общежития».

«Значит, это еще один способ отказать», – твердо решила я.

Вышли мы все из этого здания веселой гурьбой, ребята шутили, смеялись, поздравляли друг друга. «Чему они радуются?» – удивлялась я. Это все, в основном, были москвичи, условия приема их не угнетали, и никто-никто из них не догадывался, что творилось у меня на душе. Но жребий был брошен. «А если примут? О, если только примут, моя борьба за тяжелую, самостоятельную, полную неожиданных превратностей и лишений жизнь только начнется. Ну, а если не примут?»

Итак, мне надо было ожидать решения апелляционной комиссии.

Распрощавшись с этой гурьбой веселых ребят, я шла не знаю куда. Что же я буду делать дальше? Если откажут, будет обидно, больно. Надо будет сразу же решать, в какой другой

институт я подам заявление, ведь я приехала учиться и хоть, как говорят, «кровь из носа», буду (о возвращении домой в Геническ мне не хотелось даже думать).

А если произойдет чудо, и меня примут, что же я буду делать тогда??? Ведь это все равно, что повесить меня без веревки. Куда я денусь? Разве смогу я даже одну неделю прожить без общежития и стипендии? И я сама же лишила себя этой возможности. Зачем же я дала такую расписку?

Тетушки «из бывших»

С такими невеселыми мыслями я пришла в общежитие, где было не «восемь девок – один я», а восемь парней – одна я. Все ухаживали за мной, но ни один меня даже пальцем не тронул.

Когда я вошла, все закричали: «Танцуй, тебе письмо».

Письмо было от мамы. В мамином письме какая-то знакомая мамы просила меня зайти к какой-то Кити Юрьевой, которая живет у своей тетушки из «бывших». По существу, мы все тогда были еще «бывшие», но это было подчеркнуто, поэтому ребята сразу решили, что это была не просто обычная тетушка, а какая-то в прошлом либо графиня, либо княгиня. Нужно передать ей, что ее Юрочка уже здоров и ходит в детский садик. Моя мама была директором этого детского садика.

Я прочла всем письмо вслух. Первым отозвался красавец грузин, Вано.

– Можно пайти на княгиня русский посмотрэть. Я видал только князь грузинский – одын баран – одын князь (я поняла это так, что все грузинские князья такие бедные, что, имея одну овцу, он уже чувствует себя князем), русский князь я не видал, – он говорил с «балшим» грузинским акцентом.

Я пошла. Жила она недалеко, на Пятницкой улице.

Вошла во двор – грязь непролазная, не двор, а сплошная лужа. На маленьком островочке в виде летней клумбы носился чумазый, лет шести, мальчишка.

– Ты не знаешь, – называю фамилию, – как их найти?

– Знаю, вон иди по-над домом, до того угла, – указал он в правую сторону дома.

Пошла я «по-над домом» и остановилась перед сплошным озером воды, доходящим до самой двери, спускающейся куда-то в подвал.

– Здесь что ли? – спрашиваю опять.

– Да ты, тетенька, не бойся, прыгай вниз, там направо, – командует он.

Прыгнула и спустилась. Темно, сыро – прошла по темному коридору и уткнулась в черное отверстие кухни в конце коридора.

Сразу в этой темноте трудно было что-либо различить. На потолке шоколадного цвета за проволочной сеткой тускло мерцала электрическая лампочка. Две женщины стояли спиной друг к другу и любезно переругивались:

– Не успею войти в комнату, как вечно крышка моей кастрюли хлопает, кто заглядывает в чужие кастрюли?

– Да что вы, господь с вами, я стою одна здесь, никто не заходил, вам просто показалось.

– Хорошее – «показалось», а намедни мясо исчезло у меня из супа – это тоже показалось?

Я прервала «идиллию» вопросом, как попасть к таким-то.

Агрессивная сторона указала на дверь и продолжала:

– Если бы мне попался тот, кто это делает, я бы горячую кастрюлю на голову ему вылила, не пожалела бы супа.

В этой проходной черной, закопченной кухоньке стояло несколько тесно прижатых друг к другу столов, загроможденных посудой. И даже она показалась мне уютной, и я даже подумала: и здесь бы я могла ночевать, если бы мне разрешили вон в тот угол втиснуть раскладушку.

Но в это время кто-то очень приятным голосом крикнул «войдите».

Я вошла в комнату, пропахшую сыростью и нафталином. Окон в ней не было, она освещалась очень красивой хрустальной люстрой, свисавшей над столом.

В комнате были две женщины, очень молодые, но ярко противоположные по внешности. Я спросила Кити, ко мне подошла чудесная блондинка, я отдала ей письмо, и пока она его читала, я разглядывала обстановку.

Вся комната была заставлена, как антикварный магазин, старинной тяжелой мебелью. Огромный буфет с великолепной резьбой из черного дерева. Дамский письменный стол розового дерева. В углу кровать из карельской березы, роскошные хрустальные вазы на полках и масса старинных фарфоровых безделушек, запыленных и засиженных мухами.

И среди обломков этой «богатой старины» в светлом платье, с красной косынкой на плечах сидела на кровати, высоко закинув ногу на ногу, красавица-брюнетка Серафима.

Кити кончила читать письмо, на глазах у нее были слезы.

– Ты извини нас Сима, пойдемте, Нина ко мне.

Это «ко мне» была в полном смысле конура. Прямо напротив двери было окно ниже уровня тротуара. Вся стена была сырая, с обвалившейся штукатуркой. С левой стороны огромный гардероб с провисшей дверью, туалетный столик и тахта с правой стороны.

– Вы извините, – обратилась Кити ко мне, намекая на слезы, – это всегда со мной, когда вспоминаю наш солнечный юг.

Она мне понравилась. Какая прелесть, подумала я. И такие красивые чистые синие глаза.

– Пойдемте, погуляем, – предложила она, и часа через два мне уже казалось, что я знаю ее целую вечность.

Кити и Сима, обе предложили мне остаться у них до приезда их тетушки, Надежды Николаевны, которая отдыхала в Крыму.

Приняли!!! Приняли!!!

Ждать пришлось недолго.

Когда я позвонила, Ротман из Ветошного переулка, 13 закричал мне: «Приняли! Приняли! Зайди за документами».

Я не пошла, я помчалась. Господи, после всех моих сверхчеловеческих мытарств – приняли! Ведь это я так коротко описываю свои скитания, а ведь я уже целый месяц моталась по всем учреждениям, и к кому-кому я только не ходила, и все утверждали, что я трачу силы на абсолютно безнадежное дело и, вдруг — *приняли!*

– Ты одна из самых счастливых. На, получай свои документы и отнеси в институт, – протянул мне папку Ротман.

На первой странице, сверх выписки из протокола апелляционной комиссии «Принять без предоставления стипендии и общежития», было мое заявление. «Прошу приять без…» и так далее. Я, не долго думая, здесь же, вырвала свое заявление и на глазах у всех порвала и выбросила в мусорный ящик.

– Ты, что с ума сошла, что ты делаешь?! – закричал Ротман, секретарь апелляционной комиссии. – Ведь там все равно все написано!

– Ну и пусть написано, но не моей рукой. А потом, ведь ты понимаешь, что без стипендии и общежития я не могу. Да я сегодня не знаю, где ночевать буду.

С этими моими документами на пяти страничках из школьных тетрадей и с выпиской из протокола апелляционной комиссии я помчалась на Большую Калужскую, 14.

Двор, заваленный стройматериалами, мокнувшими под уже прохладным московским дождем с его лужами, показался мне уже родным и близким. Здесь уже что-то принадлежало мне, а я ему. Я вся буквально трепетала от радости. Все москвичи мне тоже вдруг показались более приветливыми. Хотелось смеяться и кричать всем вслух: «Приняли!!! Приняли!!!»

Я бегом поднялась на второй этаж, переступая через две ступеньки, не обращая внимания на вечно текущую по ним жижу из вечно засоренного туалета, находившегося прямо напротив ступенек второго этажа.

Без всяких церемоний я так же вихрем влетела в кабинет директора и положила перед ним на стол папку. Он, не открывая, прижал ее ладонью и сказал: «Занятия начнутся через две недели».

Не успела я выскочить из кабинета, как за мной выбежал сидевший в кабинете директора человек и окликнул меня. Подойдя ко мне, он спросил:

– Вы на какой факультет подали?

Факультет? Об этом я совсем не думала. Я поступила в институт, а факультет? Мне было все равно, я даже думала, что факультеты выбирают после того, как начнутся занятия.

– Никакой, – ответила я.

Он рассмеялся.

– Тогда, с вашего разрешения, я вас приму на мой горно-металлургический– по обогащению руд цветных металлов и золота.

Я с восторгом ответила:

– Согласна!

– Значит, через две недели я вас здесь увижу.

Это был профессор Станислав Вячеславович Ясюкевич.

Первый поцелуй

Залетев к Кити за своим незатейливым чемоданом, я, больше чем через сутки, очутилась в теплом, уютном, солнечном Геническе. Из всех наших многочисленных переездов Геническ мне казался самым близким. Он стоял на берегу моего любимого спокойного, богатого вкусной рыбой Азовского моря.

Обрадовав родных, что принята, я промолчала на каких условиях. Да и зачем было их расстраивать, я ведь очень хорошо знала, что, при всем желании, помочь они мне не смогут. И была какая-то чертова уверенность, что я в *своей стране никогда, нигде не пропаду.*

У нас уже несколько дней гостил сын папиного друга, погибшего во время гражданской войны. Я помнила Мишеньку в светлом костюмчике по фотографии, которую когда-то прислала моим родным его мать. Сейчас я познакомилась с красивым молодым человеком, только что закончившим Военно-морскую академию в Ленинграде и успевшим побывать уже в короткой командировке в Англии. Он заехал в Геническ к нам, чтобы забрать свою мать Евгению Николаевну из дома отдыха, в котором она отдыхала.

Как только я приехала, наш дом превратился в клуб. Каждый день ребята собирались у нас в доме. В основном это были студенты, которые так же через пару недель должны были разъехаться кто куда. Кто в Харьков, кто в Ленинград, кто в Одессу, а кто в Москву, по институтам. Мы всей гурьбой, загородив почти всю улицу, с веселыми песнями мчались вечером в порт, хватали на лодочной станции пять плоскодонок и уплывали в открытое море.

После этих прогулок мы возвращались домой поздно, наплававшись, накупавшись, с мозолями на руках и с беззаботной радостью на сердце. Гитары, как будто устав за ночь, звучали глухо во влажном предутреннем воздухе. Михаил не ездил с нами в эти прогулки.

Он проводил время с моими родными. Но однажды, возвращаясь как обычно, я заметила его знакомую фигуру, бродившую по берегу моря, и я страшно смутилась.

– Вы очень долго сегодня задержались, и папа попросил меня встретить вас.

Он взял меня за руку:

– Скажи, тебе не стыдно оставлять меня одного скучать?

И мне действительно стало стыдно, что я даже не старалась чем-нибудь развлечь его, как гостя.

– Ты знаешь, Миша, я думала, что наша шумная, полувзрослая-полуребячья компания тебя совершенно не интересует.

– Да, но в ней же ты, – сказал он.

И я твердо ответила:

– Честное пионерское, мы не дадим тебе больше скучать.

И Миша громко расхохотался.

– Согласен.

Время настало, все уже потихоньку начали разъезжаться.

Последние несколько дней мы много времени проводили вместе. В день его отъезда мы все стояли на перроне, шутили, смеялись, все вокруг казалось каким-то празднично веселым. Поезд пыхтел и готов был вот-вот тронуться. И Миша, стоя на подножке вагона, вдруг сильно обнял меня, почти поднял в воздух и крепко-крепко поцеловал и с такой нежностью опустил на перрон, что мне показалось, что не поезд двинулся от меня, а я вместе с перроном уплываю куда-то от поезда.

Во мне вдруг вспыхнуло еще никогда-никогда не испытанное чувство к этому до сих пор чужому человеку. Он в одно мгновение стал мне дорогим, близким, не просто Мишей, а «моим, моим и только моим Мишей». И сразу исчезло чувство, которое, мне казалось, я испытывала к нему, как к старшему брату. Я вдруг перестала быть девчонкой, легко шутить, без причины смеяться, иногда влюбляться и дразнить ребят: «Знаете, ребята, я люблю Колю, Женю, Юру, да я всех вас, ребята, люблю».

Иногда я думала, ну кого бы я выбрала из этих ребят? У каждого было что-то хорошее, и всем нам вместе было очень весело. Мы играли во множество всяких игр, катались на лодках, купались, загорали, пели почти до утра и очень бережно относились друг к другу. Никогда никто никого не обидел из нашей компании. И вот я уходила с этого вокзала другим человеком. Я как будто сразу повзрослела, исчезла юношеская неуверенность, мне казалось, теперь я знаю, что я буду делать. Я стала взрослая, и чувство это было и радостное и грустное, как будто я что-то очень хорошее потеряла и что-то очень дорогое приобрела.

Через пару дней кое-как собрали мне на дорогу деньги. Одежды у меня было в обрез и никакой теплой для московской зимы. О шерстяном свитере я только мечтала. В одном чемодане я везла с собой все, вплоть до постельного белья: простыни, наволочки, полотенца, даже подушку. Второй тяжеленный чемодан был опять с продуктами.

И все, что было у меня в кармане – это несколько рублей и письмо для Тамары Гасенко, студентки какого-то не то коммерческого, не то торгового института, от ее мамы. Тамара была дочерью священника, который «расстригся», бросил больную жену и двух детей сбежал с молоденькой уборщицей куда-то в Крым.

Мой брат Шура очень крепко дружил с братом Тамары, тоже Шурой. Они вместе добровольно и в армию пошли.

Эксперименты в области образования

Тамара

Сдав в камеру хранения свой багаж, я пошла бродить по городу, стараясь обмозговать, что же мне дальше делать. Попроситься переночевать у Кити, но ее тетушка уже приехала, или зайти по «старому знакомству» на Тверскую, 67? А завтра в институте, может быть, кое-что выяснится. Я была уверена, что меня и те, и другие не оставят на улице ночевать. Но сама мысль, что надо просить, была мучительно тяжела.

Наконец, проголодавшись, я зашла в какую-то булочную на Тверской недалеко от Почтамта. Хлеб уже давно в Москве давали по продуктовым карточкам, а всякие булочки, ватрушки еще можно было купить без карточек. Пока я сосредоточенно разглядывала, что купить, кто-то тихонько подошел ко мне сзади и закрыл мне глаза. Я обернулась – передо мной стояла Тамара:

– Откуда ты свалилась? Вот не ожидала. Когда приехала? Давно ты здесь? – засыпала меня вопросами Тамара.

– Остановись на минутку, тебя ко мне прямо бог послал.

– Ну, ты моя безбожница, – расхохоталась Тамара.

– Да и ты не шибко верующая. А я собиралась искать тебя, на, тебе письмо от мамы. Мама сказала мне, что ты вышла замуж, правда?

– Вот поедем ко мне, познакомлю со своей половиной. Но мы живем не вместе, я живу в общежитии с девчатами, он в мужском общежитии.

В трамвае я пересказала ей, как мне рассказывала Тамарина мама о ее замужестве:

– Приехала Тамара с молодым человеком, студентом, тоже из Москвы. Я, конечно, предложила ему (места у нас много) остановиться у нас. А утром, когда он вышел во двор умываться, Тамарочка поливала ему на руки, он и спросил: «Тамарочка, где наше мыло?» – Тут я все и поняла.

Тамара расхохоталась так, что все пассажиры на нее оглянулись.

Так мы добрались до Волоколамского шоссе, которое действительно было «у черта на куличках».

В комнате общежития, где жила Тамара, было 12 студенток, меня приняли очень приветливо: ничего страшного, будешь тринадцатой, будет у нас «чертова дюжина». Вместе с ними, в этой маленькой тесной комнате, мне пришлось прожить довольно долго.

Кризис недопроизводства

Долгожданный день настал – я студентка, и сегодня первый день занятий. Всю ночь я нервничала, не могла уснуть. Что же будет дальше? Что ждет меня, как смогу я преодолеть все трудности? Но это нисколько не омрачало то чувство счастья, которое я испытывала от сознания того, что я добилась своего и теперь я студентка не какого-то Кустарно-промышленного института, а того института, куда хотела поступить. Я знала, какие трудности придется мне испытать, но я была готова и дала себе слово все перенести.

Сегодня я увижу всех тех, с кем придется делить горе и радости студенческой жизни долгих пять лет.

Поднявшись наверх на второй этаж, я прочитала в списках, в какую аудиторию должна войти.

Подойдя к аудитории и открыв дверь, я просто растерялась. В узенькой комнатке стоял один стол, три стула, а пришедшие раньше меня студенты озабоченно бегали где-то в поисках стульев и стола. И только когда появились студенты старших курсов, они нам весело объяснили, что удивляться тут нечему, что это обычная история.

– У нас, видите ли, это обычная канитель, – утешали нас старшекурсники. – Горняки тащат у металлургов, металлурги у технологов, а те у кого попало, поживете, привыкнете. У вас еще ничего, есть стол, а то, бывало, только к концу занятий кое-как укомплектоваться удавалось. А если стул удавалось достать, так и сидели на нем, боясь расстаться, как бы кто не упер.

Стало как-то легче на душе. Растерянность на лицах новичков исчезла, все заулыбались.

– Ну, что ж, давайте привыкать. Привыкать, так привыкать, – сказал кто-то еще. И мы стали столы и стулья отвоевывать с боем, и к началу занятий кое-как «укомплектовались».

После реорганизации Горной академии прием студентов увеличился во много раз, и пришлось все большие аудитории разделить на маленькие, в которых с трудом помещалось 20 студентов. Сидели мы, как сельди в бочке, плечом к плечу, локоть к локтю, а через тонкие фанерные перегородки с успехом можно было слушать лекцию в соседней аудитории. Оборудования, столов, стульев и многих других вещей так же не хватало.

– Да, товарищи, – со вздохом заметил один из студентов, – это кризис недопроизводства.

И тут же задал вопрос:

– А что, товарищи, лучше – кризис недопроизводства или перепроизводства?

Один из сидящих на подоконнике подвел итог:

– Перепроизводство – это феномен загнивающей капиталистической системы. Например, Америка задыхается от перепроизводства, зерно сжигают, зерно выбрасывается в океан, а рабочие голодают, товаров много, а покупательная способность трудящихся сведена к нулю. У нас кризис недопроизводства, что это значит? Это значит, что благосостояние трудящихся улучшается с каждым днем, спрос превышает предложение. При разумном государственном планировании мы подойдем к идеальной системе, то есть к такой, когда спрос будет равен предложению.

Когда первые хлопоты утряслись, я с большим интересом принялась разглядывать своих новых товарищей.

Тысячники

Вместо здоровой жизнерадостной молодежи я увидела вокруг себя пожилых, уставших и мрачных людей. У многих были огромные портфели, по которым более или менее можно было судить, какой раньше пост занимал его хозяин. Многие из них были старше моего отца. У некоторых были дети старше меня. Это были парттысячники, профтысячники и многие другие, не успевшие завершить свое образование до начала войны, революции и гражданской войны, а затем работавшие на восстановлении разбитого, разрушенного народного хозяйства. Некоторые из них занимали очень крупные хозяйственные и партийные должности в разных автономных республиках. Они все имели право в первую очередь получать общежитие и повышенные стипендии.

Ко мне отнеслись они с особым отеческим вниманием, а я с грустью думала: пропали мечты о веселой студенческой жизни, когда «хоть есть нечего, зато жить весело».

Занятия кончились, и все стояли в нерешительности – что же дальше, неужели и завтра начинать занятия с поисков стульев и столов?

Выручил небольшого роста студент казах Куинджанов, он заявил:

– Не волнуйтесь, товарищи, мне ведь все равно ночевать негде, после второй смены я останусь и буду караулить.

Но на следующее утро, когда мы пришли на занятия, оптимизм его исчез, и нам снова пришлось отвоевывать свои стулья.

Лабораторно-бригадный метод обучения

В нашем институте в то время «свирепствовал», как тогда говорили, лабораторно-бригадный метод обучения. Он заключался в том, что группу разбивали на бригады из пятишести человек, которая ежедневно оставалась после окончания занятий на два-три часа для общей проработки материала.

В нашей группе был 21 человек, 18 мужчин и 3 женщины. Обе, кроме меня, москвички. Нашу группу сразу же разделили на четыре бригады. Наиболее подготовленная часть студентов терпеть не могла этот метод, так как в большинстве это сводилось к тому, чтобы кому-то, окончившему учебу много-много лет назад и забывшему все на свете, вдалбливать в голову какую-либо ясную, как божий день, теорему. Для индивидуальных занятий просто не оставалось времени.

Увильнуть или отказаться от этих занятий было просто невозможно. Об успехах студентов судили больше по тому, как успевает вся бригада. Отсутствие на занятиях бригады было почти равносильно непосещению института. Даже отметки ставили огульно: например, бригада № 1 – отличники, бригада № 2 – так себе или плохая, тянет всех на черную доску. А в этой плохой бригаде могло быть один или два студента, с которыми вся бригада билась, как «рыба об лед», и ничего сделать не могла. Вообще, за пять лет нашей учебы на нас перепробовали столько новых методов обучения, что мы в шутку называли себя кроликами.

Прозаседавшиеся

Первые месяцы учебы были сумасшедшие. Отнюдь не в смысле учебы – нет, а в смысле бесконечных собраний, заседаний, долгих, утомительных. Фактически, не было ни одного дня без каких-либо собраний. Проводились они по любому поводу, во время перемен между уроками, во время обеденного перерыва, в конце уроков, очень часто до 10 часов вечера. Собрания были всякие: групповые, факультетские, комсомольские, партийные, профсоюзные и всевозможные другие. Почти на всех этих собраниях и заседаниях строго полагалось присутствовать. По этому поводу у Владимира Маяковского был очень удачный стих «Прозаседавшиеся», который очень удачно подходил к нашей ситуации.

Был еще один бич у студентов. В любую минуту во время занятий вас могли вызвать и отправить куда-нибудь на производство или просто на какую-либо общественную работу. Например, рано утром занятия начинались при полном составе, а часам к 12 аудитории пустели. Общественная работа считалась настолько важной, что профессора и преподаватели были обязаны освобождать студентов от занятий и продолжать читать лекции полупустой аудитории. Таким был первый семестр нашей учебы.

Я считала, что от общественной работы отказываться нельзя. Ведь это для пользы всего коллектива, и ее надо выполнять честно. Если для этого надо даже отказаться от всех личных удовольствий, от этого пострадаю только я, а вот если я откажусь от проведения какого-либо общественного мероприятия, то я сорву какое-либо общественно-полезное дело. Короче говоря, участие в общественно-полезном деле на меня действовало магически. И через месяц на меня, кроме всего прочего, навалили уже шесть общественных нагрузок.

Не подумайте, таким «недугом» страдала не только я или такие активисты, как я. В этот водоворот в те годы были втянуты все: одни – по партийной линии, другие – по комсомольской, а беспартийные – по профсоюзной.

Бездомная

В первые дни все мое внимание поглощено было знакомством с новыми людьми, с новой обстановкой, мне даже некогда было подумать о себе.

Но как только выходила я за ворота академии, мне становилось страшно, а что же дальше? Где я буду ночевать сегодня? У кого? Опять у Тамары? Я уже несколько недель каждый вечер мчалась на Волоколамское шоссе к Тамаре в общежитие. Но их тоже перевели в общежитие в самый центр города, возле Политехнической библиотеки. В комнате теперь у них было не 12, а 8 девчат, но здесь каждую ночь к ним заходил комендант проверять, нет ли у них в комнате посторонних. И какие же нервы надо было иметь, чтобы это перенести, чтобы каждый вечер дрожать и бояться, что ты вдруг среди ночи можешь очутиться где-то на улице. Как долго я смогу так существовать, без денег, без общежития?

На Украине жизнь с каждым днем становилась все более и более дорогой. Мои родные не могли мне помочь, а из моих писем они не имели ни малейшего представления, в каком положении я нахожусь. Но как же мне быть? Без стипендии я не протяну и недели, а без общежития и того страшнее. Положение было очень тяжелое. Не только я, но и многие студенты ночевали на вокзалах, в пустых аудиториях, в коридорах. Неужели после стольких страданий и мук я должна бросить учебу и уехать обратно? Эта мысль была страшнее всех.

Я ходила по этой угрюмой, суетливой Москве, и такой она мне казалась неуютной, холодной, неприветливой. Я думала, думала – никому, ни одному человеку здесь нет дела до того, что делается на Украине, да и вообще во всей стране. И перед моими глазами стояли эти растерянные женщины, раздраженные, растерянные мужчины и присмиревшие, со своим скорбным взглядом, дети, и как будто все спрашивали:

– Что случилось? Зачем так сломали нашу жизнь? Зачем перевернули все вверх дном?

Это была коллективизация, и никто не понимал, не мог понять, откуда она взялась и кому и зачем она нужна в этой прекрасной, родной для всех нас стране. И именно вот сейчас, в это самое тяжелое для страны время, в момент усиленной индустриализации. Зачем? Разве нельзя было подождать, дать возможность людям подумать и самим решить, что же лучше?

И если бы все это было к лучшему, а то сразу стало хуже.

На моих глазах все люди с каждым годом стали жить все лучше и лучше. Я видела, с каким азартом люди трудились, стараясь улучшить свою жизнь, а значит, жизнь всего общества, всей страны.

Зачем же не оставили их в покое? Зачем же из уверенных, веселых, жизнерадостных, трудолюбивых тружеников сделали злых, раздраженных людей… Перевернули все вверх ногами, как после стихийного бедствия. И эти трудолюбивые люди, если не сосланы за свое трудолюбие, растерянно сидят у развалин с таким трудом, с таким тяжким трудом построенного ими хозяйства. И моя Зоя была бы живая, и сколько пользы она принесла бы с ее незаурядным талантом. И откуда появилось это противное, проклятое слово, которое я ненавидела – «лишенец», «лишенцы».

– Если бы был жив Ленин, никогда-никогда бы это не произошло, – твердо решила я. Сталин заявил – «произошло головокружение от успехов», каких успехов? Успехов коллективизации? Ведь никаких успехов и в помине, не было. Было насилие и упорное, угрюмое сопротивление. Люди не понимали, что с ними происходит и кому это так внезапно нужно.

Удочерили

На Добрынинской площади меня кто-то окликнул. Здесь ожидала трамвая Аннушка Кочеткова:

– Ты куда? Поедем ко мне. Кстати, позанимаемся спокойно вдвоем, – попросила она.

Из трех женщин в нашей группе самая старшая из нас была Аннушка (как ее все ласково называли). Бывшая московская ткачиха жила с мужем у родителей мужа – оба профессора Ветеринарного института. Это я узнала по дороге к ним. Родители Севы (так звали ее мужа) приняли меня очень тепло, были очень приветливы, как будто они так и ожидали нас вдвоем. Жили они в старинном двухэтажном деревянном доме, предназначенном на снос. Квартира была типично старомосковская, обитая темными обоями, со старинной мебелью. Мы занимались с упоением. Часов в 10 я собралась уходить.

Клавдия Тимофеевна, мать Севы, обратилась ко мне:

– Ниночка, где вы живете? Как далеко вам ехать?

Я сказала, что ехать мне не так далеко, а живу пока я в общежитии у знакомых студенток.

– Значит, своего общежития у вас нет. Вы у нас «бездомная», – заявила Клавдия Тимофеевна. – Я же знаю, что творится в наших университетах. Так, вот что, снимайте пальто, мы вас никуда сейчас не отпустим, места у нас достаточно, а девочкам позвоните, чтобы они не волновались.

Мне стало до слез больно от их такого трогательного участия. Неужели я вызываю такую жалость к себе? Я попробовала отказаться, у чужих я всегда очень стеснялась. Но они настаивали.

– До получения общежития мы вас удочеряем, я думаю все со мной… «Согласны»!!! – раздался из другой комнаты голос Владимира Николаевича.

– Согласны, согласны, – засмеялись все. – А теперь давайте, снимайте с нее пальто.

Ударная группа

В это время в нашем институте происходили радикальные перемены. По всей стране правительство, через средства массовой информации, требовало выполнить первую пятилетку экономического и социального развития досрочно в четыре года. Для быстро развивающейся индустрии требовались специалисты, которых, по существу, было очень мало. Многие институты разукрупнялись, переходили на сокращенные учебные программы. Наш институт, как и многие другие, решил не отстать от общего темпа, и на общем собрании приняли решение выполнить нашу пятилетку, то есть пять лет учебы, в четыре года. Но в нашей группе нашлись суперэнтузиасты, которые выдвинули встречный план и предложили «по-ударному» окончить институт в два с половиной года. И администрация института, поверите или нет, согласилась. Нас сделали ударной группой, записали на красную доску. И теперь все мы ломали голову, разрабатывали методы, каким образом мы сумеем окончить институт в два с половиной года и с какой программой.

И выход был найден. Решили заниматься в две смены. С восьми часов утра до часу дня и после двухчасового перерыва от трех до восьми вечера без выходных и без отпусков. Сокращения срока учебы мы еще собирались достичь путем удаления из программы некоторых дисциплин второстепенного значения, а также тесной связью с производством и перенесением на производство изучения некоторых теоретических дисциплин во время производственной практики.

Старые почтенные профессора пришли в ужас и, хватаясь за седые головы, стонали:

– Помилуйте, непрерывная практика ни в коем случае не заменит тех дисциплин, которые должны быть отменены за недостатком времени.

Такой крупный профессор, как В. А. Пазухин, заявил:

– Я считаю своим долгом доложить деятелям высшей школы, что такое изменение программ приведет к снижению квалификации. В этом случае мы будем готовить мастеров, а не инженеров. И ответственности за такое качество подготовки специалистов взять на себя не могу. Переубедить меня и доказать целесообразность данного мероприятия невозможно. Я буду работать с вами вопреки всякому здравому смыслу, а только подчиняясь приказу.

Другой профессор также заявил:

– Если директор института издаст приказ о сокращении сроков учебы в два раза, мы можем не подчиниться ему, так как он ошибается в силу своей некомпетентности. И мы обязаны указать на его ошибки. Я убежден в том, что через год правительство свой приказ отменит, и мы будем опять удлинять сроки.

Тем не менее, почти два месяца, до производственной практики, мы занимались с таким напряжением.

В это время я почти целую неделю наслаждалась гостеприимством этих замечательных людей и чувствовала себя не как гостья, а как член семьи. И в дальнейшем меня всегда принимали, как члена семьи. И даже когда они переехали в какой-то бывший роскошный особняк на Большой Димитровке, у них всегда стояла в углу у входа кровать-раскладушка для меня, и встречали меня всегда радостным возгласом:

– Наша Нинца приехала (или пришла)!

Дали общежитие!

И вот в один прекрасный день, месяца за полтора до окончания первого семестра, по институту прошел слух, что где-то на Калужской площади в бывшей сапожной мастерской отремонтировали помещение для женского общежития.

В тот же день я помчалась на разведку.

Всю Калужскую площадь окружали старые покосившиеся двухэтажные домики, требовавшие усиленного ремонта. На нижних этажах были пивные забегаловки, продовольственные, булочные, бакалейные магазины, а также всевозможные пошивочные и сапожные мастерские.

Вот одну такую сапожную мастерскую на углу Калужской площади и Большой Калужской улицы решено было переоборудовать под общежитие для женщин. Это была мастерская, в которой я чинила свою обувь, пока ее можно было чинить и пока пальцы не вылезли из протертой подошвы, а потом я просто надела на них галоши и не снимала, пока не получила ордер на обувь.

Дверь со стороны площади замуровали и оставили вход со двора. Когда я нашла вход и открыла дверь, то просто отшатнулась от неожиданности.

Темная, как подвал, прихожая, напротив вдоль стены три-четыре вечно текущих в продырявленный под ними жестяной желоб крана, на полу озеро. Справа засоренная уборная, из которой тоже лилась на пол зловонная жижа. От порога входной двери до следующего порога наискось проложена доска, по которой с акробатической ловкостью можно было пройти в другое помещение, не утонув в этой зловонной жиже под доской. Открыв дверь с левой стороны, я вовсе оторопела. Это здесь или я не туда попала? Я очутилась, как в угольном забое. Маленькая электрическая лампочка освещала небольшой пятачок на потолке, напротив голые темные нары, на которых кто-то храпел, жуткий запах табачного дыма и пота от немытых тел мог сбить с ног даже слона. Я готова была бежать обратно, но вдруг справа открылась дверь, и из ярко освещенной свежевыкрашенной комнаты вышел комен-

дант общежития нашего института. Он пропустил меня внутрь. После того ада, который я видела у входа, она показалась мне царственно солнечной. За ней была вторая комната, с печкой, которую еще не успели оштукатурить, и которая должна была обогревать обе комнаты. Весь пол был еще заляпан краской.

– Значит, ты тоже зашла обследовать, вот завтра мы и будем заселять общежитие, – гордо заявил он.

– Это завтра, – сказала я, – а на чем же мы спать будем?

– Как на чем? Пойдем, покажу тебе кровати.

Мы вышли во двор. В конце двора под огромным сугробом снега лежали какие-то полузаржавевшие, как мне показалось, прутья.

– А это вот кровати для вашего общежития. Выбирай любую.

Твердо решив про себя, что я должна попасть сюда, или вся моя учеба, после стольких невероятных усилий, кончится печально, больше мне некуда идти, и что сегодня же я буду ночевать здесь, я попросила:

– А знаешь что, помоги-ка мне внести одну из них внутрь.

Он немного поколебался, но, увидев мою решимость не отступать, ответил:

– Ну что ж, давай внесем.

Мы с трудом втянули это холодное, обледенелое сооружение внутрь.

– Куда тебе поставить? – спросил он.

– А вот давай в тот самый дальний угол у окна возле печки.

Когда кровать была поставлена на место, он вдруг спросил у меня:

– А ордер у тебя есть?

– О чем ты спрашиваешь, если нет, то завтра будет, – уверенно ответила я, про себя подумав, что отсюда меня смогут выдворить только силой и с нарядом милиции.

Поблагодарив его, я помчалась собирать свои пожитки – часть у Тамары в общежитии, часть у Аннушки.

Когда часов в 10 я вернулась, на нарах в комнате, напоминавшей забой в угольной шахте, запах в которой выворачивал все внутренности, уже храпело человек 10 сезонных рабочих.

А когда я открыла дверь и вошла в наше теперь общежитие, была очень приятно удивлена. В несколько часов тому назад пустых комнатах было уже человек 15 студенток. Некоторые кровати были уже застелены, кое-кто, весело болтая, застилал свои кровати. Меня встретили радостными возгласами: «Добро пожаловать. Вот пустая кровать, располагайся, как дома».

– Спасибо, девочки, но у меня уже есть, – ответила я и вошла в другую комнату.

Наш новый сырой, неоштукатуренный «камин», затопленный сырыми дровами, весело трещал, распространяя дым и вонь.

На моей кровати кто-то уже уютно разостлал свою постель, но я, будучи в весьма возбужденном состоянии, недолго думая, собрала чью-то постель и переложила на пустую соседнюю кровать, а на появившиеся откуда-то соломенные матрасики постелила свою постель. «Оккупантка», захватившая мою кровать, оказалась Зиной – очаровательной, красивой спортсменкой, с которой мы довольно крепко подружились.

Настроение у всех было такое, как будто мы все поселились в каком-то замке или в первоклассной гостинице. Смех, шутки, пение не прекращались до полуночи.

У красивой, с ямочками на щеках, Танюшки оказался замечательный голос, и она запела:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит.

В той степи глухой замерзал ямщик.

Зинка, запела свою любимую песню:

Есть Россия, свободная страна,
Всем защитой служит она…

И наша дальневосточница Раечка, недавно, после продажи КВЖД, выехавшая из Китая, тоже запела:

Я знаю песнь о верном сыне, в одной из дальних, дальних стран
Простой китаец жил в Пекине, простой китаец Ли О Ан.
На свете странного немало, в Пекине есть такой закон.
Что вдоль посольского квартала проход китайцам запрещен.
«Назад»! Схватив его за ворот, вскричал английский капитан.
«Но ведь Пекин родной мой город» – ответил тихо Ли О Ан.

Рая после наших веселых бравурных песен спела эту песню почти со слезами на глазах, даже все притихли.

Но наш «камин» уже разгорелся, стало тепло. Все притащили в нашу комнату у кого что было, устроили общий полуночный ужин.

Видно не одна я, а все достаточно намучились без жилья.

Лиза, самая старшая из нас, беременная, которую мы все называли: «Наша парттысячница», грустно заявила:

– Знаете, товарищи, мы с вами самые счастливые, а ведь многие ребята едут куда-то в Расторгуево под Москву. Эти поездки отнимают у них уйму времени, и живут они там в таких деревянных бараках, которые защищают их только от ветра.

И все мы знали, что даже там не было достаточно места. Это были годы, как будто где-то плотину прорвало. Все, кто мог и не мог, прямо с каким-то ожесточением набросились на учебу. В некоторых институтах было подано почти 30 заявлений на одно место. На такой наплыв не хватало ни общежитий, ни даже учебных помещений. Ведь вместо одной Горной академии сейчас было шесть переполненных институтов, не хватало всего: стульев, столов и всего прочего, но энтузиазма было столько, что можно было горы свернуть.

Заселялись недостроенные общежития, строились институты. Мы рыли котлованы, разгружали и таскали стройматериалы для здания нашего будущего института на Крымском валу, 3. Ни дождь, ни снег, ни морозы – ничто нас не останавливало, строительство шло полным ходом.

Такие были в то время тяжелые материальные условия и такая неукротимая жажда учебы.

На следующий день, с бьющимся от волнения сердцем, я шла бороться за свое право на общежитие. И была очень приятно удивлена, когда, ни о чем не спрашивая, мне выдали ордер.

Только бездомные могут понять то чувство, которое испытала я. Это было чувство счастья, радости и облегчения. Да именно, счастья, что вот я могу прийти после занятий, сесть или лечь на свою постель и делать все, что я хочу. И если я раньше благословляла все заседания, все собрания, благодаря которым имела возможность до 10 часов ночи торчать в институте, то теперь я с нетерпением ожидала их конца, чтобы скорее уйти в свой уголок, лечь на свою кровать, почитать, пописать или просто, забросив руки за голову, немного помечтать, не чувствуя ни страха, ни неловкости.

Воскресники и субботники

У студентов кроме изнурительно долгих собраний и заседаний был еще один бич. Каждое воскресенье устраивались так называемые «воскресники». В субботу нас предупреждали явиться ровно в 8 часов утра в институт, попроще одеться, прихватить с собой пару старых перчаток, если есть. Мы уже имели удовольствие в одно прекрасное воскресенье разгружать вагоны с загнивающими овощами, которые через некоторое время с успехом можно было бы отправить на свалку или на удобрение. Или рыть котлованы, перетаскивать строительные материалы, кирпичи, цемент, песок. Таким же способом мы помогали строить наш институт, который до конца нашей учебы так и не был полностью достроен.

Самое неприятное было разбирать гнилую картошку. От запаха гнили кружилась голова, тошнило. Помню, как-то появился упитанный чистенький зав. складом, мы все набросились на него:

– Зачем же вы продукты гноите, не отправите покупателям?

– Видите, до сих пор разрешения от «Пищеторга» не пришло. Овощи попахивают гнильцой, но ничего не поделаешь, начальству виднее.

Обувь, одежда, руки покрывались липкой гнилью. Я лично предпочитала таскать цемент, кирпичи, все что угодно, так как после таких «прогулок» даже помыться было негде. Бани по воскресеньям не работали. Горячей воды и в помине не было. Достать кусочек мыла было невозможно, а в нашем общежитии просто подойти к умывальнику было трюком высшего пилотажа. Весь пол был загажен, залит водой и грязью из вечно невообразимо засоренной уборной. Чтобы пройти к нам со двора и не утонуть в этой грязи, от порога до порога были проложены дощечки, и, как я раньше сказала, по ним надо было пройти с акробатической ловкостью.

В ответ на наши просьбы и жалобы приходил комендант, заколачивал огромными гвоздями дверь в уборную. Сезонные рабочие тут же ее отрывали, и так продолжалось до тех пор, пока дверь не отлетела совсем.

Как мы умудрялись следить за собой и соблюдать чистоту, уму не постижимо. А ведь умудрялись. Ходили в баню, простаивали там в длиннющих очередях. Шаек и мыла там тоже не хватало и приходилось за них воевать, и радостные, веселые, с таким облегчением возвращались в общежитие.

Мы все уже успели привыкнуть к этой нестерпимой вони в проходной комнате, от которой даже крысы могли подохнуть, и к пьяному галдежу строительных рабочих, и к тесноте и духоте наших полухолодных, вечно наполненных едким дымом комнат, в которых было уже 22 студентки – и все это ни капельки не мешало нам не только радоваться жизни, но даже заниматься.

Каждое крохотное улучшение заставляло думать и верить, что все изменится к лучшему. Не сразу, правда. Но вот неделю тому назад я приходила в отчаяние, а теперь я уже в общежитии. Ведь принять с резолюцией «без предоставления стипендии и общежития» было равносильно «отказать».

Стипендия

Итак, я уже преодолела одно препятствие. Вопрос с общежитием решен. Надо было бороться дальше. Я давно уже существовала на голодном пайке, и если бы я в этих тяжелых, стесненных условиях не сумела бы иногда подработать в одной строительной конторе (размещением на чертежах размеров), то, наверное, умерла бы с голоду. 16 копеек стоил наш студенческий обед, 12 копеек батон хлеба. И часто, очень-очень часто у меня не было денег

даже на это. Мой рацион был до предела ограничен. По натуре я довольно замкнутый человек. Не люблю говорить о себе много. Я никогда никому не жаловалась, никогда ни у кого ничего не просила, ни у кого денег не одалживала. Вела себя так, как будто ни в чем не нуждаюсь, если даже была голодна до обморочного состояния. Такой я была с детства, такой и осталась на всю жизнь.

Но студенты, которым всегда не хватало денег от стипендии до стипендии, и которые постоянно ходили «стрелять» друг у друга денег, всегда говорили:

– У Нины? Да, у Нины денег куры не клюют.

Потому что никто из них никогда не слышал от меня ни жалоб на безденежье, ни просьбы одолжить.

Шел уже четвертый месяц нашей учебы. Я дошла до точки, когда без стипендии не могла прожить больше ни одного дня. Считая, что на стипендию, так же как и на общежитие, я имею полное право, я в один прекрасный день решилась. Была не была, один у меня выход – подать заявление, просить стипендию.

И до сих пор вспоминаю и забыть не могу, как после подачи заявления я ночи не спала, нервничала, готова была, как львица, бороться за свое право на учебу. И не просить, а уже требовать.

И вдруг ко мне подошел староста нашей группы Ваня Шалдов и, как ни в чем не бывало, так запросто, сказал:

– Иди получать стипендию.

Сначала я даже подумала, что это злая шутка. Но у кассы мне выдали ровно 55 рублей, даже без вычетов. И никто меня никуда не вызывал, никаких вопросов не задавал. Мне сказали: «Иди получать стипендию» – и точка.

Это было накануне Нового 1931 года.

Стенгазета

Мы с Аннушкой помогали ребятам оформлять новогоднюю стенную газету нашего института на 1931 год.

– Тебе нравится? – любуясь газетой, спросила Аня.

– Знаешь Анечка, красивое оформление еще не все, главное содержание. Я хочу, чтобы была правда в каждой букве, в каждой строчке. Я не хочу лживой мишуры. За что мы распекали Юрия? Честного, умного и самого смелого и справедливого из всех, кого я знала.

– Да, я с тобой согласна. Но он не должен был так резко выступать, он мог бы высказаться не в такой форме о том, что видел на практике, и тем самым не компрометировать авторитет нашего правительства и нашей партии.

Уже несколько недель подряд, чуть не каждый день вечером, после занятий, в огромной аудитории Горной академии проходил общественный суд над только что вернувшимися с практики студентами Юрой и двумя его товарищами. И мы после занятий должны были сидеть и слушать бесконечные наставления «шибко умных» активистов, которые умели, в буквальном смысле, делать из мухи слона и которых я впоследствии просто ненавидела. В конце концов, этот «общественный суд» вынес им приговор. Их отправили на два года на перевоспитание на производство с правом окончить институт после того, как они исправятся и «наберутся ума-разума». Всем этот суд надоел до чертиков, он шел по принципу «тебе дочка говорю, а ты невестка слушай». Для этого мы все и сидели там по два-три часа после утомительных занятий. Я за это время успевала получить уйму записочек от ребят. Одни приглашали в кино, другие просто хотели познакомиться, а некоторые даже успевали объясниться в любви. Сидевший рядом со мной парень пожаловался:

– У меня уже руки отсохли записки тебе передавать.

Уже это говорит о том, с каким «вниманием» относились все ребята к этим судам.

Тогда еще было более или менее мягкое отношение к таким студенческим выступлениям: ругали, выносили выговор, устраивали «общественный суд», как вот сейчас, выносили приговор, но до арестов еще не доходило. Вот это событие и было освещено в стенгазете.

– Я с тобой не согласна, народ и все должны знать о наших ошибках и недостатках. Мнение народа – это закон для партии…

Раздался звонок.

– Ну, Нинок, дискуссия окончена, мы едем встречать Новый год. Уже пол-одиннадцатого. Давай скорее, скорее. Ты не одета? Фу, какое мещанство. Вот только пятно от краски на лице сотри. Да не ходи в уборную, ее всю залило, туда не подступись, – пока я приводила себя в порядок, она без устали тараторила. – В довершение хочу предупредить, что там будет чудесный мальчик, новый друг моего Севы. Смотри, не влюбись, потеряешь покой, сон, аппетит. Даже я во сне и наяву его вижу, прошу Севку: «Да не приводи ты его к нам».

– За трамвай плачу я, у меня есть трамвайные билеты.

Новый, 1931 год

Новогодняя Москва особенно хороша. Кузнецкий мост под пышным покровом новогоднего снега. Третий этаж – и мы в роскошной гостиной. Шумно, весело встречает нас уже немного подвыпившая компания.

– Мы старый год уже спровадили, сейчас пробьют кремлевские куранты, и мы выпьем шампанское за новый год.

Бой часов, «Интернационал» и голос диктора из репродуктора:

– С Новым годом, товарищи… Желаем вам новых подвигов и новых побед на пути к построению социализма и нового бесклассового общества.

Так наступил новый 1931 год. ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА, ГОД КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ГОД РЕШИТЕЛЬНОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ.

Это был мой первый Новый год в Москве, вдали от родных и близких, старых друзей и знакомых. Компания была интересная, но я никого не знала и не чувствовала себя так свободно, как среди моих знакомых.

Я никогда не умела быстро знакомиться с людьми, не умела вести светские разговоры, не умела, абсолютно не умела кокетничать. Я немного, по-хорошему, завидовала девчатам, кто умел это делать. Но сама всегда старалась быть как можно менее заметной, спрятаться, как рак, в свою скорлупу.

Потихоньку я подошла к огромному трюмо, на столике перед которым стояли удивительно красивые косметические баночки, флакончики, совсем не похожие на наши «Метаморфозы». Это была заграничная косметика племянницы хозяина, которая недавно приехала к нему в гости из Парижа. (Тогда еще можно было приезжать и даже уезжать за границу, железный занавес еще не прочно опустился).

Ко мне подошел хозяин этой роскошной квартиры, обнял меня за плечи, кивнул на батарею этих косметических принадлежностей и сказал:

– Тебе совсем все это не нужно, ты у нас без этого самая красивая.

Это и был тот «чудесный мальчик», в которого Аннушка предупреждала не влюбиться. Я не влюбилась, но мы стали большими друзьями. Мы любили встречаться, ходить, гулять и долго-долго разговаривать. Он мне нравился, но никакого чувства, что называется любовью, у меня к нему не было. Он это знал, и мы просто остались хорошими друзьями. Гуляли мы здесь всю ночь, за мной тогда настойчиво ухаживал наш студент Петя Бельский, без пяти минут инженер, как мы тогда говорили. Утром после завтрака все отправились в парк на

каток, обедали в ресторане «Шестигранник» в парке и ужинали снова у Даниэля (так звали этого красавца).

Первая производственная практика

В конце 1930 и в начале 1931 г. мы, студенты первого курса института Цветметзолота, уже проходили практику в Казахстане на гигантском Риддерском комбинате по добыче и обработке свинцово-цинковых руд, на Красноуральском медеплавильном комбинате, Магнитогорском металлургическом комбинате на Урале и на многих других, только что отстроенных, недостроенных или находящихся еще в процессе строительства предприятиях. Обновлялись или строились новые гиганты: новокраматорские заводы в Донбассе, Березинский и Солекамский химкомбинаты, а также в таких городах, как Запорожье, Мариуполь, Ростов.

Осуществление всех поставленных перед нами и перед страной задач в области развития народного хозяйства и такого огромного капитального строительства за 6–7 лет после окончания гражданской войны требовало не только миллиардных вложений, для чего были мобилизованы все внутренние ресурсы, но и сверхчеловеческих усилий теперь уже **советских людей.**

Комсомол весь свой неугасимый энтузиазм вложил в дело индустриализации нашей страны.

В эти годы десятки, сотни тысяч партийной и беспартийной молодежи, юноши и девушки по призыву комсомола со звонкими песнями и веселыми улыбками отправлялись на *самые тяжелые далекие* новостройки Сибири, Дальнего Востока, Урала, Кузбасса, Донбасса, на Северный полюс и во многие другие далекие, еще необжитые места. И каждый из них чувствовал себя винтиком этой огромной родной страны. Такого гигантского энтузиазма в таких невыносимо тяжелых условиях, я думаю, никогда нигде, ни в одной стране на нашей планете не было, все, что строилось, все, что добывалось, все, что плавилось, создавалось и производилось – производилось для НАС для ВСЕХ, для НАШЕЙ СТРАНЫ, на благо всех. Казалось, вся страна принадлежит НАМ, и МЫ принадлежим стране, все было НАШЕ. НАШИ недра, НАШИ шахты, НАШИ заводы, НАШИ необъятные просторы, степи, реки и леса – где хочу, остановлюсь, куда хочу, поеду, за это «НАШЕ» все готовы были жизнь отдать. В этот период миллионы рабочих были охвачены пафосом гигантского строительства, охватившего всю страну.

Я помню стихи моего любимого поэта Владимира Маяковского, который писал их о таком именно народе и его энтузиазме:

Я знаю —
Город будет,
Я знаю
Саду цвесть,
Когда
Такие люди
В стране
советской есть.

Или Тихонова:

Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей…

Эти стихи были написаны до сталинских массовых репрессий. Когда еще во главе нашей страны находились такие крупные руководители как Орджоникидзе, Пятаков, Серебровский Бухарин, Рыков, Косиор, Постышев и многие, многие другие, которых ликвидировал Сталиным.

Сборы

Первый семестр первого курса нашей теоретической учебы подходил к концу. 31 января 1931 года мы должны были уехать на 4 месяца на производственную практику. Вся эта система называлась НПО – непрерывное производственное обучение. Эта система давала нам возможность ознакомиться с предприятиями, на одном из которых, вероятно, впоследствии пришлось бы кому-нибудь из нас работать. Это были те годы и то время, когда, взамен старых методов обучения, шли усиленные поиски новых более рациональных методов, при которых старались сблизить теорию с практикой. Поэтому студенты так едко шутили, называя себя кроликами, над которыми проводятся бесконечные эксперименты.

До отъезда оставались считанные дни. Идея поездки была очень приятна, всем очень нравилась, и собирались мы на нее, как на увеселительную прогулку.

В конце семестра преподаватели без экзамена, на основании результатов текущих занятий, ставили всем просто зачет.

Когда наш профессор по высшей математике Брауде поставил всем, и мне, зачет, я запротестовала, попросила не ставить мне зачет, так как из-за общественной работы, которая всегда приходилась на уроки математики, на занятиях я присутствовала всего 3–4 раза, следовательно, считала я, математику я знала недостаточно хорошо. Вся группа зашипела на меня, между группами шли соревнования, и я тем самым подвела бы всю группу. Но я категорически настаивала, чтобы мне не зачли математику. И только после долгих препирательств со стороны группы профессор согласился со мной. Так я получила «хвост» по математике, который должна была сдать осенью, кстати, он был первый и последний.

Итак, в самый разгар зимы, в конце января, мы должны были поехать на производственную практику в Казахстан на Риддерский горно-металлургический комбинат по добыче и обработке полиметаллических руд. За неделю до 31 января нам выдали дополнительные продовольственные карточки на дорогу и ордера на обувь и на некоторые вещи первой необходимости.

Я разбогатела, получила стипендию, купила полотенце, простыню, а главное, ботинки, и считала, что теперь я могу хоть на Северный полюс отправиться.

Но только что приехавшие оттуда студенты, глядя на нашу обувь и наши пальто «на рыбьем меху», горько улыбались:

– Разве можно в такой одежде на Алтай ехать? Вы же понятия не имеете, что такое сибирские морозы, в таком виде вы туда и носа не суйте, это вам не Москва.

Одежда наша зависела главным образом от снабжения московских магазинов. Теплой одежды достать было невозможно: перчаток, теплых носков и в помине не было, а о валенках и мечтать нельзя было, но нам просто повезло.

У нас в группе учился Коля Кротков, он работал в ГПУ еще при Дзержинском, и даже потом каждое лето он пристраивался к какой-либо группе, уезжавшей в Крым или на Кавказ, что они там делали и кого они там охраняли – неизвестно. Хотя, как он сам нам тогда еще рассказывал, охрана в то время там была еще та, «липовая».

Но когда он заявил:

– Ребята, собирайте деньги, валенки будут.

Мы поверили ему. И он где-то и как-то сумел достать для всех нас валенки-чесанки, не тяжелые, грубые, а уютные, легкие, красивые, как картинки.

На продовольственные карточки мы купили: маргарин, консервы из дельфиньего мяса, колбасу из конины (все шутили, колбаса у нас фифти-фифти пополам, один рябчик, один конь), колбасу сильно прожарили, насушили сухарей. Едем в Казахстан, значит, надо привыкать есть конину, там это любимое мясо.

Сахар, который получила по карточке, я отправила родным на Украину, решила сделать им подарок, так как там давно уже нельзя было достать его.

Накануне отъезда я получила посылку от дедушки: бутылку топленого масла и бутылку меда с его пасеки. Этой бутылке меда все очень обрадовались, и мы решили устроить чаепитие.

Посреди нашей комнаты стоял длинный стол из плохо обструганных досок, стульев не было, были длинные скамейки по бокам. На стол поставили ведерочко с горячей водой, чтобы растопить застывший мед и масло. По мере оттаивания каждый наливал масло и мед прямо на хлеб, никакой посуды у нас просто не было. Несмотря на убожество нашей обстановки и сервировки, чаепитие было очень веселое.

Даже такое небольшое событие, как бутылка меда, могла создать среди 22 человек столько радости, хохота и песен. И действительно, нет более счастливой поры в жизни, чем студенчество. Никакие лишения не страшны, каждый был уверен, что все это только временно, до окончания института, а затем – работа в свое удовольствие по специальности, при полном материальном благополучии. И только тогда, когда мы окончили университет, то все, с кем мне пришлось встретиться, вспоминали:

– Вот дураки, мы-то не ценили, а жили ведь как у Христа за пазухой.

И я должна без излишней скромности сказать, что наш институт за эти годы, несмотря на тяжелые условия учебы и жизни, выпустил огромное количество крупных, замечательных специалистов. Почти все гигантские предприятия в области цветной горнодобывающей металлургической промышленности были подняты, достроены, отстроены и поставлены на ноги выпускниками наших институтов. Каждое предприятие было, как наше общее детище, мы вкладывали всю свою душу в эти *наши* предприятия.

Иногда работы – как в Норильске, Красноярске, Риддере, в Красноуральске и многих других местах – начинались почти с нуля, на ровном месте. Начальники главков, главные инженеры, директора, профессора, научные сотрудники, преподаватели были питомцами наших выпусков.

При встречах все рассказывали, какие невероятные трудности им приходилось преодолевать, за что они получали Ленинские и Сталинские премии, становились Героями труда. Ведь такое предприятие, как Норильский горнометаллургический комбинат по добыче и обработке никеля, кобальта, меди, золота, серебра и других редких и цветных металлов, был буквально создан и поставлен на ноги лучшим другом Кирилла, замечательным, гениальным инженером *Николаем Селиверстовым.* Они вместе учились, вместе кончили наш институт, и Николай Селиверстов был один из тех светлых, блестящих умов, которыми восторгались профессора нашего института.

И там же он стал героем и лауреатом тех же пресловутых премий. И, потеряв здоровье на тех же предприятиях, парализованный, заработал себе право лечиться в Кремлевской больнице, где и находился под конец своей жизни чаще, чем в бедно обставленной квартире где-то далеко за городом. Он с гордостью рассказывал нам о тех трудностях, с чего и как начинал он строительство этого гиганта, очутившись после окончания нашего института в 1935 году в этом самом пресловутом Норильске, куда якобы до сих пор засылали только самых заядлых преступников.

– И вот один я, вольнонаемный, и человек пять заключенных в пустом помещении с какой-то игрушечной муфельной печью.

Так началось строительство и так был построен гигантский Норильский горно-металлургический комбинат. И точно так же на наших глазах были построены и многие другие, подобные ему. И работая в этих тяжелых сверхчеловеческих условиях, он заработал паралич ног. Лечили его, правда, в Кремлевской больнице, но дома за ним ухаживали жена, дочь и его внуки. Жили они на какую-то крохотную его пенсию, и Тоня, его жена, мучительно старалась получить пенсию за время, проработанное в нашей институтской лаборатории до замужества, чтобы хоть как-нибудь улучшить условия жизни. Умер парализованный Николай в Кремлевской больнице, а вскоре после него умерла и Тоня, его жена, от рака мозга. Такой ценой осваивались эти предприятия.

С мечтой в кармане

Накануне нашей первой поездки на практику староста нашей группы объявил, что мы все должны подписаться на государственный заем, и что из нашей стипендии ежемесячно будут вычитать 10 процентов, а также что мы должны покрыть нашу задолженность с 1 октября, с начала учебного года. Мы все согласились единогласно.

Итак, 31 января 1931 г., в самый трескучий мороз, мы заняли почти целый вагон в поезде «Москва – Новосибирск». В кармане у меня осталось 20 копеек. Но мы не унывали.

Поезд мчал нас мимо Вятки, мимо Перми, мимо Свердловска по заснеженным лесам. На остановках ребята бегали за кипятком и прикупить кое-что к нашей, уже достаточно всем осточертевшей, колбасы. На одной из остановок ко мне подошел Хохлов – наш профуполномоченный:

– Что же ты не выходишь? Хочешь, я принесу? А лучше вот, – он положил на столик передо мной 25 рублей, – в получку ты мне вернешь. Договорились?

И быстро ушел. Такое внимание было трогательно до слез. Никаких «спасибо», никаких «не надо, не хочу» – ничего этого, а просто положил и вышел.

Наконец, ночью мы прибыли в Новосибирск. Выгрузились со всем нашим скарбом. На следующий день мы должны были пересесть на поезд «Новосибирск – Семипалатинск». Здесь мы решили переночевать в городе в гостинице. Ночь, темень и никакого транспорта, мне до сих пор кажется, что мы шли по открытому полю, утопая в сугробах снега, в жгучий сибирский мороз -50 °С. Когда мы добрались до гостиницы «Сибирь», мы хорошо прочувствовали, что такое сибирская зима. У многих были отморожены носы, уши, щеки, и все усиленно бросились растирать снегом побелевшие от мороза части тела.

В гостинице не было ни одного свободного места, и все мы расположились спать в коридоре, прямо на полу.

Утром Новосибирск произвел на меня впечатление глухой деревни. Длинный, утопавший в снегу бульвар и два ряда невзрачных домиков по сторонам. Ну, просто, захолустье.

Из Новосибирска на поезде мы доехали до Семипалатинска – сердца Казахстана. В Семипалатинске мы остановились в доме-конторе главного управляющего «Цветметзолота».

А дальше из Семипалатинска до Усть-Каменогорска, расположенного в предгорьях Рудного Алтая, мы должны были, передохнув пару дней, ехать почти 75–80 км на санях по замерзшему Иртышу.

Нас разместили на пяти санях-розвальнях. Мы все старались как можно глубже зарыться в наваленное здесь сено и сверху укрыться чем попало – одеялами, подушками. Когда уже все были готовы тронуться в дорогу, управляющий «Риддерзолота» взглянул на меня, быстро вернулся обратно в контору и вынес оттуда огромную волчью доху и сибирские валенки «пимы», они были такого размера, что я прямо всунула в них ноги в моих

«красивых» чесанках. Я до сих пор думаю, что если бы не это, то вместо меня привезли бы сосульку, да не только я, а все мы с трудом выдержали это путешествие.

Лошади выглядели как сахарные. Ямщики были мертвецки пьяны. Одеты они были в длинные овчинные тулупы и огромные овчинные шапки, повязанные сверху башлыками, и с поллитровками за пазухой. Когда становилось невмоготу от холода, они останавливали наш транспорт, прикладывались к поллитровкам и, широко размахивая руками, пританцовывали на месте, чтобы согреться. Мы вылезали тоже, бегали вокруг саней, чтобы размять онемевшие и окоченевшие ноги.

Иногда наши ямщики, разогретые водкой и задремав на козлах, летели на ухабах в такие огромные, глубокие сугробы, что мы их еле-еле оттуда вытаскивали. А бывало даже так, что седоки летели в сугробы так, что одни ноги оттуда торчали.

Температура в начале февраля доходила до -50 °С. Дышать было трудно, струя воздуха леденила все внутренности. То и дело мы натирали чей-либо отмороженный нос, щеки, уши. Лица у всех потрескались от мороза и были в ранах от усердного натирания снегом.

Но это было не все. Наше путешествие еще не кончилось и продолжалось дальше. Из Усть-Каменогорска нам надо было преодолеть, кажется, еще 28 км до Риддера по узкоколейной железной дороге. Этот почти игрушечный поезд шел черепашьим шагом, то и дело слетая с рельсов, мужчины водворяли его на место, паровоз пыхтел, скрипел и иногда даже не мог двинуться с места, как будто примерзал к рельсам. Топливом служили дрова, и мы, чтобы окончательно не замерзнуть в этих игрушечных вагончиках, бегали вокруг поезда, собирали и таскали дрова для паровоза.

Риддерский металлургический комбинат

Обустройство

И когда рано утром на рассвете мы наконец достигли цели, перед нашими глазами широко развернулась потрясающей красоты, ярко освещенная солнцем панорама Риддерского поселка. Эта живописная долина, окруженная со всех сторон отрогами Алтайских гор, утопала в сугробах свежевыпавшего снега, сверкавшего на солнце так ярко, что больно было смотреть. Вот этот Риддерский поселок, расположенный в Рудном Алтае в Восточно-Казахстанской области и стал центром по добыче и обработке богатейших полиметаллических свинцово-цинковых руд. На этой белоснежной поверхности, как темные заплаты, чернели трубы, из которых лениво шел дымок. А с правой стороны поселка с высокой горы сверху вниз опускались металлургический завод и обогатительная фабрика новенького Риддерского металлургического комбината.

Нас разметили в новых стандартных двухэтажных кирпичных домах без особых удобств, правда, в кухне был один водопроводный кран на весь этаж и огромная никогда не затухавшая плита. А вот женские и мужские туалеты, внушительных размеров деревянные сооружения, находились во дворе возле каждого дома и, почему-то, вдоль улицы. Полуоткрытые двери этих уборных намертво примерзли к ледяным глыбам янтарного цвета льда. Протиснуться внутрь можно было с огромным трудом, но и там все кругом было покрыто полуметровым слоем льда из мочи и человеческих отходов. Это было зимой, что же летом?

Первые дни мы, наша женская часть, устраивались. Надо было вымыть, вычистить невероятно грязную комнату, достать кровати, стол стулья. Когда мы все закончили и решили отдохнуть, наша чистая комната привлекла внимание жителей этого дома, и к нам в комнату повалили непрошеные гости. Шумно, без стука, отлетал запор, широко открывалась дверь, и на пороге появлялся рабочий-казах, а за ним выглядывал второй – в этих домах также были общежития для рабочих-казахов. Они входили, бесцеремонно оставляя за собой огромные следы грязных сапог, с размаху садились на наши кровати, подпрыгивали на них, разводили руками, широко улыбались, что-то лопотали на своем родном языке. Уговорить их уйти было бесполезно. Их надо было просто вытолкнуть. Они не сопротивлялись и не пытались вывернуться, а просто стояли, как предмет, который надо выставить.

Опасаясь таких налетов ночью, мы выработали некоторые способы защиты – каждая клала под подушку горсть соли или какой либо острый предмет (например, вилку), связывали все кровати веревкой и привязывали их к двери и бросали жребий, кому лечь на ближайшую к двери кровать. Это было до тех пор, пока они не привыкли к нам, а мы к ним.

Я иногда заходила к ним. Большие комнаты почти до дверей загорожены голыми нарами. Эти нары служили им и столом и постелью. Работали они в шахтах, на обогатительной фабрике, металлургическом заводе – работа не из чистых. О каком-либо купанье после работы они и понятия не имели. Возвращаясь с работы в мокрой от шахтной сырости одежде, пропитанной грязью и металлической пылью, не раздеваясь, они валились на голые нары и засыпали мертвецким сном.

Я даже решила просвещать их, старалась учить грамоте и русскому языку.

Здесь же на втором этаже была большая общая кухня с огромной плитой, на которой можно было готовить 24 часа в сутки, и кубовая, где мы брали кипяток и горячую воду для питья и для мытья, это было удобно для всех работавших в разных сменах.

Наконец, кончив уборку, мы решили прогуляться по поселку.

Магазины были открыты, ничего съестного, пустые полки, но, к нашему всеобщему изумлению, в изобилии были… духи «Манон». В то же самое время в Москве ни за какие деньги нельзя было достать духи, и мы увозили отсюда в Москву по несколько флаконов «Манон». Трудно представить, какому безмозглому идиоту понадобилось, неизвестно для кого и для чего, завезти сюда такое количество духов. Неужели нельзя было потрудиться и доставить сюда что-либо более необходимое и полезное?

Нас прикрепили к неуютной общественной столовой. В огромной, как сарай, комнате стояли длиннющие столы и деревянные лавки, на столе блюдо, полное жареного мяса. Мы все с дороги с жадностью набросились на это изобилие. И только когда кончили нашу трапезу, кто-то заржал в конце стола, выразив предположение, что лошадка была довольно пожилая. На следующий день вместо мяса на стол была подана просто селедка и больше ничего. С продовольствием здесь было очень трудно, но все-таки хоть что-то, где-то и как-то еще можно было достать.

Предрассудки

Наша практика начиналась с шахты. Когда мы пришли утром, нам выдали спецодежду, огромных размеров сапоги и брезентовые куртки, ношенные-переношенные, но без такой спецодежды даже появляться на этом производстве было немыслимо. Нас прикрепили к бригадам шахтеров. Мы должны были ознакомиться со всем процессом добычи и отправки руды на-гора, на обогатительную фабрику. Когда бригадир узнал, что я должна спуститься в шахту с шахтерами, он покачал головой и сказал:

– Шахтеры откажутся спускаться, так как среди шахтеров, как и среди моряков, спокон веков существует суеверие: женщина в шахте – неизбежная авария.

После долгих пререканий, что это наша студенческая практика, и в результате моей настойчивости мне разрешили спуститься в шахту. Бригадир взял меня под свое крыло:

– Ты же от меня ни на шаг не отходи, – твердо заявил он.

Студентов-мужчин пропустили запросто.

Но через несколько дней произошла небольшая, как горняки говорили, рутинная авария. Эту горную породу, как уголь, киркой нельзя взять. Бурильщики алмазного бурения пробуравливали 10–12 глубоких скважин, в них загоняли динамит, запальщики производили взрыв, предварительно отправив всех рабочих в безопасный забой. После взрыва забой проветривали и приступали к отгрузке руды конвейером или вагонетками «на-гора».

И снова приступали к бурению новых скважин. Вот в это время и происходили эти, так называемые, «рутинные аварии». После взрывов в породе оставались небольшие углубления от прежних шурупов, с которых строго-настрого запрещалось бурильщикам начинать бурение, но, несмотря на запреты и стараясь облегчить свой адский труд, они начинали бурение с этих скважин, а вся опасность заключалась в том, что в некоторых из них оставался чуть-чуть динамит, и он, конечно, взрывался. Это случалось не часто, но случалось.

Такой вот взрыв и произошел при мне. К счастью без несчастного случая – но все равно, чувство было жуткое.

Взрыв был далеко не мощный, но достаточный, чтобы погасить все наши карбидные лампочки и оставить нас в кромешной темноте. Что-то стукнуло меня по голове, боли я не почувствовала, но в заводском отделении «Скорой помощи», куда оправили всех поднявшихся на-гора, врач сказал, что у меня на голове небольшая шишка, а из-за ворота моей рабочей куртки извлек кусок руды:

– А это ты сохрани на память.

Несмотря на то, что правительство в это время, на основании закона о равноправии мужского и женского труда, стремилось внедрять женский труд повсюду, в том числе и на

шахтах и на металлургических предприятиях, большого успеха оно не добилось. Да и я, сейчас оглядываясь на прошлое, твердо могу сказать: быть горно-металлургическим инженером – еще куда ни шло, но работать шахтером или металлургом у раскаленных печей – не женское это дело.

Инженеры-вредители из Промпартии

Следующим, и основным, этапом нашей практики была работа на обогатительной фабрике.

Свинцово-цинковая руда прямо из шахты поступала в крупно-дробильное отделение и дальше проходила весь процесс обогащения до получения отдельных концентратов свинца и цинка, и даже золотую амальгаму– «сплав Доре» получали.

После шахты даже обогатительная фабрика, с ее невыносимым грохотом дробилок, тяжелейшим запахом химических реактивов, грязью флотационных ванн, шумная, грохочущая, вредная, опасная для здоровья, но захватывающе интересная, произвела на нас благоприятное впечатление.

На этом заводе работало два инженера-«вредителя» из «Промпартии» Рамзина. Я очень хорошо помню, как мы, студенты, даже партийные, относились к ним с каким-то особым уважением и любопытством. Они отбывали здесь ссылку. Говорили, что сначала они были приговорены к расстрелу, но чистосердечно покаялись, выдали все свои планы, и наш пролетарский суд заменил им расстрел ссылкой.

Они были всегда изысканно вежливые, приветливые. Общаясь с ними, мы даже подружились. И я вспоминала, как только три месяца тому назад, 3 декабря 1930 года, когда вся засыпанная пушистыми хлопьями снега, как белой ватой, Москва приобретает особую прелесть, у Колонного зала Дома Союзов была организована грандиозная демонстрация протеста. Там шел суд над группой вредителей «Промпартии» Л. К. Рамзина и другими, их обвиняли в создании антисоветской подпольной организации, целью которой было проведение подрывной деятельности в промышленности и на транспорте. Мы, студенты, веселой гурьбой влились в огромную колонну поющих демонстрантов.

Проходя мимо Дома Союзов, все кричали: «Смерть вредителям!», «Смерть предателям!», «Смерть шпионам французского империализма!», «Смерть Рамзину!», «Смерть Ларичеву!» и т. д. Громкоговорители разносили эти призывы по всей Москве.

Честно, видя всеобщее негодование народа, я тоже верила, что все они вредители, стремившиеся к свержению советской власти и возвращению старого режима.

В те годы очень легко в это можно было поверить. Ведь прошло всего только семь-восемь лет после окончания гражданской войны. А все они были воспитаны при старом режиме, и у многих, очень многих интеллигентов еще была большая симпатия к прошлому режиму, а не к пролетарской революции и к всплывшей на поверхность полуграмотной, неотесанной, темной массе, наполнявшей все учреждения, при котором их уклад жизни совсем изменился.

По Москве в это время ходили упорные слухи, что «Промпартию» разоблачили потому, что произошла среди них неувязка и грызня из-за портфелей. А именно, кто какое министерство возглавит после падения советской власти (ведь в те годы еще многие верили, что советская власть скоро падет), и кто-то из этой компании якобы не выдержал и предал их.

Кто дал им право свергать советскую власть, которую *народ завоевал* такими страданиями и жертвами? Разве они спросили вот у этих людей, у этой толпы, желают ли они этого? Трудно сейчас, очень трудно, а разве раньше вот такому простому народу было лучше или легче? А ведь именно таким, как они, миллионам и принадлежит будущее. Ведь не капиталисты и не миллионеры создают богатство страны, а вот эти трудовые люди, вот они и

вынесут на своих плечах все трудности. Какая беда, что вот у меня ноги промокли в прохудившихся башмаках? Зато мы живем, учимся, строим и чувствуем себя полноправными гражданами своей необъятной страны, не кланяемся, не гнем спину перед господами, будущее принадлежит нам. А им что до этого? Им нужны были титулы, министерские портфели, они делили шкуру неубитого медведя. Так думала я. Но также я слышала, как возмущались и как думали другие.

– Ведь они занимали крупные должности в правительстве. Правительство им доверяло, они пользовались уважением, вниманием и всеми доступными в то время благами, и им было всего этого мало, они носили нож за пазухой.

Ярко освещенный Дом Союзов остался позади. Колонны демонстрантов с хохотом и песнями весело рассыпались. Собралась группа ребят.

– Ну, а теперь куда? В кино?

Куда угодно, в кино, так в кино.

Всем хотелось увидеть что-то хорошее, услышать что-то хорошее, сделать что-то хорошее, хотелось жить, чтобы никто не мешал. Мне хотелось, чтобы все были добрые, любили друг друга. У Лизы, рядом со мной, с трудом застегивались пуговицы синего потрепанного пальто на ее вздувшемся животе, но лицо ее сияло, она пела громче всех.

Подошел Петя (студент 5 курса), уже давно и упорно он старался ухаживать за мной, обнял меня за плечи:

– Ты знаешь, Лиза, я очень люблю ее.

– И я люблю, – ответила я.

– Так в чем же дело? – повернулась ко мне Лиза.

– Но я люблю другого.

Все громко расхохотались.

– Вот, нашли место в любви объясняться. Пошли скорее в кино, – предложил кто-то из ребят.

Все это я вспомнила, когда пришлось встретиться с бывшими членами «Промпартии», вместе работать, подружиться, и проникнуться к ним глубоким уважением.

Английская пунктуальность

В свободное от работы на предприятии время мы решили заниматься некоторыми теоретическими предметами, в их числе был английский язык. Нам немедленно прислали преподавателя, это была жена инженера из Великобритании, работавшего в Риддере. Видите, насколько в то время было все проще. В те годы на многих наших предприятиях работали еще иностранные специалисты по контракту. Она не знала ни слова по-русски, но была пунктуальна до секунды, в любую погоду.

А погодки здесь были знаменитые, в пургу в двух шагах от дома вы могли потеряться, а весной, когда начинал таять снег и вода с гор стекала в эту котловину, лошади по брюхо тонули в жидкой грязи на самых центральных улицах. Тротуаров и мощеных улиц в то время в Риддере и в помине не было, мы с трудом добирались до обогатительной фабрики, буквально по колено утопая в грязи. Мы, как акробаты, вытаскивали из грязи один сапог, затем второй и, изнемогая от усталости от таких упражнений, добирались до предприятия в сапогах, полных этой грязной хлюпкой жижи, а она, как часы, приходила ровно в 10 часов утра. Нам нравилась удобная, практичная одежда нашей преподавательницы, и мы с удовольствием срисовывали фасоны ее платьев себе в тетради.

К нам прислали даже какую-то уборщицу, которая убирала, мыла полы и за наши незначительные подарки пекла нам очень вкусные пироги с алтайской облепихой. Я, южанка, до этого никогда даже не слышала о существовании такой ягоды. Как только наступила весна,

нас приглашали на прогулки, нам старались показать все достопримечательности Великого Алтая. Хотя теплеет здесь довольно поздно (во время первомайской демонстрации шел сильный снег), но склоны Алтайских гор с южной стороны, освободившись от снежного покрова, уже покрылись ковром цветов небывалой красоты. Странно было видеть роскошные цветы с южной стороны гор, когда на северной стороне еще лежал глубокий снег. Мы поднимались верхом на маленьких, низеньких лошадках по крутым склонам гор к каким-то сказочным горным озерам, берега которых тоже утопали в цветах.

Кто платил уборщице и всем остальным за эти услуги? Мы понятия не имели и никогда не спрашивали. Но все это было, и всего только через десять-двенадцать лет после окончания гражданской войны и падения трехсотлетнего царского режима, и было это не для детей какой-то элиты, а для детей простых рабочих.

Пролетели четыре месяца, кончился срок нашей практики, и в один чудесный июньский день мы покинули этот великолепный по природе, тяжелый в то время для жизни, Алтайский край.

Возвращение по-царски

Обратно в Москву мы возвращались «по-царски». Вместо мучительной езды на «игрушечном поезде» от Усть-Каменогорска до Риддера, как это было зимой, мы на том же «игрушечном» поезде по узкоколейной железной дороге долетели обратно от Риддера до Усть-Каменогорска чуть ли не за час.

Город Усть-Каменогорск – пристань на реке Иртыш – расположен в предгорьях Рудного Алтая в Восточно-Казахстанской области. Здесь, я помню, нас предупредили быть осторожными, далеко от центра не отходить, так как где-то в окрестностях Усть-Каменогорска все еще рыскали какие-то бандитские группы басмачей, то есть война еще где-то как-то и кем-то продолжалась.

Переночевали мы в Усть-Каменогорске, побродили по магазинам. Теперь мы могли уже кое-что купить. Четыре месяца на практике мы получали на предприятии зарплату так же, как рабочие, «по занимаемой должности». В шахте как шахтеры, на обогатительной фабрике и металлургическом заводе как рабочие. В Усть-Каменогорске я купила себе очень красивый вязаный костюм, бордового цвета с бежевой отделкой из очень тонкой шерсти.

Из Усть-Каменогорска до Семипалатинска мы проделали наш путь не на санях в пятидесятиградусный мороз по почти насквозь промерзшему Иртышу, а на пароходе, надраенном до умопомрачительной чистоты. Дорога была сказочной красоты. С левой стороны Иртыша высокий крутой берег, а с правой стороны весь берег утопал в цветах черемухи, от запаха которой кружилась голова даже на пароходике. Мы стояли на палубе, не в силах оторвать глаза от этой неописуемой красоты. Но оторваться пришлось.

Нас пригласили ужинать в застекленную с трех сторон уютную маленькую столовую, откуда мы могли продолжать любоваться неописуемой красотой Иртыша и его берегов. Посреди стола на огромном блюде лежал зажаренный… поросенок, который вызвал бурю восторга и аплодисментов. Оказывается, наши ребята решили «по-царски» отпраздновать окончание нашей первой практики. Появилось даже несколько бутылок вина. Все шумно и весело поздравляли друг друга с окончанием первой практики и первого года учебы.

В Семипалатинске мы с грустью распрощались с этим белоснежным речным пароходиком, с его капитаном и с его весело зубоскалившей командой.

Дорогу из Семипалатинска до Москвы по железной дороге я даже особенно не запомнила. Это была обыкновенная железнодорожная поездка, с беготней на остановках за кипятком и за покупкой чего-нибудь съестного у торгующих вдоль железнодорожного полотна местных жителей.

В Москву мы вернулись уже с деньгами, у каждого кое-что осталось от нашей зарплаты, а в институте нам немедленно выдали стипендию за четыре месяца, которые мы провели на практике.

Между небом и землей

Но, вернувшись с практики в Москву, я снова оказалась между небом и землей. Снова без общежития. Нашу бывшую сапожную мастерскую в наше отсутствие занял кто-то другой. Наш «Дом коммуны», наше будущее общежитие во 2-м Донском проезде все еще достраивали, и даже в недостроенное уже вселили студентов старших курсов, и оно было переполнено до отказа, а все остальные, кто туда не попал, расселялись где попало. Я сразу же решила уехать к родным в солнечный приветливый Геническ.

Нам, студентам, выдавали бесплатно железнодорожный литер, то есть проездной билет для поездки в каникулы домой. С этими литерами можно было ездить по железной дороге в любой конец Советского Союза. Я, например, три раза в год ездила бесплатно к родителям на Украину, на Кавказ и в Крым отдыхать.

В эти литеры ловкие ребята иногда вписывали самые невероятные фантастические маршруты, и шутили: «Знаешь, я через Челябинск во Владикавказе очутился». Никто, ну буквально никто не спрашивал и не требовал ни справок, ни документов кто, куда и зачем едет, выписывая студенческий проездной литер, просто спрашивали маршрут, верили на слово. Например, в каникулы со мной часто ездили студентки к морю, и им тоже выдавали проездной билет в противоположном от их дома направлении. Единственное ограничение было в том, что литер был годен для поездки в общем вагоне, но если студент хотел ехать в спальном, не в первом классе, а в купе на 4 пассажира, то он должен был доплатить какой-то пустяк. А вот достать билет на поезд считалось фигурой высшего пилотажа, наши поезда всегда были переполнены до отказа.

Каникулы дома

Лето в Геническе в начале июня было в полном разгаре. Погода стояла жаркая и ласковая. Геническ – небольшой провинциальный городок на берегу теплого Азовского моря, с замечательным пляжем. Широкие улицы и бульвары обсажены деревьями. В этом городе был маленький и уютный городской сад. Я его очень любила, особенно после дождя, когда листья были покрыты крупными прозрачными каплями влаги и цветы особенно благоухали. Здесь была сцена, где летом, в разгар курортного сезона, часто выступали приезжие хорошие артисты. В городе было три дома отдыха. Курортники задавали тон всему городу, концерты, вечера самодеятельности, кончавшиеся танцами и иногда выпивкой, хотя это удовольствие строго-настрого запрещалось.

Мои тяжелые испытания за этот год остались позади. С каким благоговейным чувством я переступила порог нашей скромной квартиры, где жили мои родители. Наша квартира за период моего отсутствия «обогатилась» мебелью, появился черный лакированный гардероб, торчавший, как вавилонская башня, в полупустой комнате. Это была первая в жизни моих родных своя мебель.

– Почему такой странный, черный цвет?

– Тебе не нравится? – грустно спросила мама, – а я так рада, что есть куда собрать вещи. Другой краски не было.

Несмотря на то что наш дом стал самым веселым местом в этом уютном городке, я както особенно болезненно ощутила всю бедность нашей обстановки. У таких ответственных, честных, преданных партийных «трудоголиков», как мой отец и вообще мои родные, кото-

рые никогда о себе не думали, не было никакой возможности, ни средств обзавестись каким-либо основательным имуществом. И я впервые почувствовала в голосе матери усталость от отсутствия элементарных житейских удобств. Гардероб был первой ласточкой. Уж если отец решил создать такую помеху в его вечных скитаниях, то это уже что-то значит, решила я.

Куда делся этот гардероб, я понятия не имею, вероятно, при первом же переезде его где-то оставили.

Скоро начали съезжаться студенты из Москвы, из Ленинграда, из Харькова, со всех концов нашего необъятного Советского Союза. Приехала моя Мария. И когда из командировки вернулся отец, то наш скромный дом с утра до ночи потрясал веселый смех как будто беззаботной молодежи. Но забот было много, очень много.

Трудно было с продовольствием, невероятно трудно было с промтоварами. Всем ребятам, я знала, хотелось приобрести самое необходимое, но это было невозможно, магазины были пустые, а если что-то и появлялось, то это немедленно каким-то магическим образам исчезало. Мама старалась перешить, перекроить какие-то старые вещи, чтобы какая-то смена у меня была. Так было у всех. Но когда собирались все вместе, кто об этом думал?

Все мы были слишком молоды, слишком много сил и энергии было у всех у нас, поэтому нам казалось, что в будущем мы горы свернем. А сейчас у нас во дворе каждый занимался, чем хотел: кто-то играл на гитаре, кто-то пел, шахматисты играли в шахматы, кто-то декламировал, кто-то сочинял стихи, кто-то рисовал. А когда нам надоедало заниматься всем этим, мы хватали полотенца и вперегонки неслись со всех ног вниз к морю.

И не успевали лодочники опомниться, как некоторые уже успевали переплыть канал, а из лодок все вываливались прямо в море, плавали, загорали и, уставшие от избытка движения, от нестерпимого солнца, возвращались, притихшие, домой, чтобы после непродолжительного отдыха и скромного ужина снова собраться и весело и шумно пойти в парк или с песнями в море на плоскодонках.

И вот в один из таких дней мама вручила мне телеграмму от Миши. Я радостно вспыхнула от неожиданности. В эту минуту мне вдруг показалось, что Миши мне недоставало, и что о нем я думала часто, и он мне стал особенно дорог:

– Что с тобой? – взглянув на меня пытливо, спросила мама. – Что-нибудь неприятное?

– Нет, мама, не знаю. Миша пишет, что на днях будет здесь.

Шурик взял телеграмму, повертел в руках, повернувшись к маме, заявил:

– Я тебе говорил мама, что нашелся чудак, который хочет на нашей Нинке жениться.

– Не говори глупости, он наш друг, с чего ты это взял? – обернулась к нему мама.

– Откуда, откуда, – обиделся он. – Я все знаю, вот увидишь, иначе бы он телеграмму прислал папе и тебе.

– Ну что ж, если так, то выдадим замуж, а то видишь, наша Нина засиделась в девках, – как-то грустно пошутила мама, и когда Шура вышел, добавила: – А я думала, что твоя главная цель – это учеба. Я хотела видеть тебя человеком независимым, образованным, а с замужеством, Нинок, не торопись, это ты всегда успеешь. Поверь мне.

– Зачем, родная, ты мне это говоришь? Я не выйду замуж до тех пор, пока не закончу институт.

Я поняла в эту минуту, сколько затаенной боли было у нее в душе, оттого что она в эти страшные годы, прошедшие через нее, не смогла получить то образование, которое хотела, и теперь она жаждала, чтобы мы восполнили этот пробел в ее жизни.

В этот момент в окно влетела Мария:

– Ты что, замуж, что ли, собираешься? Шура уже успел мне насплетничать.

Но увидев грустное лицо мамы, она присела возле нее:

– Софья Ивановна, и вы поверили ей? Да ее, ей-богу, кнутом не заставишь выйти замуж, я ее знаю. Она всех любит, все ей нравятся, но замуж ни-ни. Да что вы, вот тоже, придумали себе заботу!

В это время с подоконника на пол с шумом свалились корзина, и две огромные живые рыбины зашлепали хвостами. Мы бросились ловить их и снова водворять в корзинку. Мария была страстным рыболовом.

– Это я прямо с рыбалки. Можно, – обратилась она к маме, – мы их зажарим и вечером устроим у вас общий ужин?

– О, конечно, я все сделаю до вашего возвращения, а теперь, – развеселилась мама, – вы ступайте на море.

Белые лилии

Осталось несколько дней до моего отъезда, и я с трудом мирилась с мыслью, что мне нужно расстаться с морем, с пляжем, с солнцем в самое лучшее время года, в «бархатный сезон», и поэтому, стараясь запастись как можно больше солнечной энергией, проводила на пляже весь день с утра до вечера. Загорела так, что превратилась вся в бронзовую куклу.

Усталая, как разваренная рыба, я сидела в плоскодонке, которой мягко и ловко управлял перевозчик, перевозивший нас за пятачок через канал, с пляжа на крымском берегу, как мы шутили, на нашу украинскую сторону. Мария, обладавшая неиссякаемой энергией, выскочила, чуть не опрокинув лодку, и завизжала:

– Миша! Миша!

Наш перевозчик, с трудом удержав лодку, произнес:

– Ото, як скаженна.

По дощатому настилу пристани приближались две высокие мужские фигуры в ослепительно белых кителях. От неожиданности я растерялась, не знала, что мне делать, а Мария уже болтала в воздухе ногами, повиснув на шее у Михаила, а он широко и ласково улыбался, глядя через ее плечо на меня.

– Ну ты, чурбан, что ты стоишь, как застыла, ведь рада, знаю, что рада, – звенел голос Марии. Я действительно была так рада, что потеряла дар речи. Такое чувство было у меня впервые, мне казалось, что этого человека я люблю так же крепко, как мать, отца и брата, как будто он член нашей семьи.

Когда все успокоились, Михаил представил нам своего товарища:

– Виктор, мой друг, прошу любить и жаловать – известный альпинист. Нам показалось немного смешно: красивый сероглазый верзила в морской форме с огромным крабом на морской фуражке, и вдруг – известный альпинист, к тому же он тоже стоял, как будто растерянный от такой бурной встречи.

Когда мы шли мимо парохода, с которого они сошли, я вспомнила, что видела, как он приблизительно часа полтора тому назад приближался к пристани, но не обратила на него внимания – мало ли их здесь проходит. Михаил крикнул стоявшему на палубе товарищу:

– Спиридоныч, спустите цветы.

И огромный букет роскошных белых лилий плавно был спущен первым помощником капитана.

Второй курс

За время нашего отсутствия на практике Аннушкину семью переселили на Малую Димитровку, где в старинном, когда-то роскошном особняке им дали две большие комнаты, окна которых открывались, как двери, прямо на маленькие, красиво зарешеченные балкончики. На этом этаже жили еще четыре семьи. Здесь, жила элита: двое военных с семьями, два артиста Театра сатиры, занимавшие тоже по комнате, с общим для всех туалетом, с общей ванной, с общей кухней в огромной когда-то прихожей.

Родители Аннушкиного мужа, не знаю за что, относились ко мне так хорошо, что и в новой своей комнате отделили мне угол, за ширмой поставили раскладушку и тумбочку. А после отпуска встретили меня радостным возгласом:

– О, наша Нинца приехала.

Просили меня не стесняться, чувствовать себя как дома. Если бы не они, не знаю, куда бы я делась со своими двумя чемоданами. Возвращаясь из отпуска, я, как всегда, везла с собой не вещи, а чемодан с продовольствием: копченую рыбу, всякие мамины ватрушки, масло, мед, яблоки (купленную в дороге антоновку), помидоры и все, что могла мама достать, уже с трудом, на рынке. В Москве в те времена помидоров и в помине не было. Помидоры, огромные, сладкие, сахарные, произвели на всех самое лучшее впечатление.

Так начался 2-й курс института. Занятия уже шли полным ходом, а общежития как не было, так и не было. В институте просили потерпеть, обещали как только где-либо что-либо освободится, сразу же дать мне ордер. И на мою горькую долю захворала Клавдия Тимофеевна, когда она вышла из больницы, надо было взять человека, который мог бы ухаживать за ней.

Опять бездомная

Мои скитания продолжались. Меня приютили две студентки: Тамарочка Малявина, высокая, красивая, скандинавского типа блондинка, откуда-то чуть ли не из Финляндии, и Верочка Грызина из Тирасполя, в интересной внешности которой было много цыганского. Они также заняли кабинку временно отсутствовавших студентов, вот здесь у них я стала третьим человеком, в кабинке размером точно как купе в вагоне, где двери даже не открывались, а просто отодвигались. Спала я в узеньком проходе на чемоданах между двумя узенькими кроватями. Целый день я скиталась в институте, вечером шла в недостроенное, но уже густо заселенное общежитие. Не одна я скиталась, как бездомная, многие студенты старались приткнуться куда угодно. Сюда тоже не так просто было попасть, надо было иметь пропуск или, как тогда говорили, каждый вечер проникать «зайцем».

В «Доме коммунны» во 2-м Донском проезде (так называлось это недостроенное общежитие) спали в душевых, в читальне, в спортивных залах, даже в вестибюле. Самыми счастливыми были теперь те ребята, которые ездили куда-то к черту на кулички, в Расторгуево.

Ромео и Джульетта по-русски

Перед моим отъездом до окончания летних школьных каникул к нам в Геническ приехала знакомая учительница Ася Сторобина и попросила меня передать в Москве письмо и небольшую посылочку ее брату Феде Сторобину и его жене Соне Смоткиной. Федя работал следователем уголовного розыска, его жена Соня преподавателем физкультуры в спортивном клубе Динамо. Жили они на Малой Бронной, в старинном особняке, в одной маленькой

комнатке на третьем этаже. На этом же этаже в каждой комнате жили еще пять семейств, по три-четыре человека в каждой семье, с общим туалетом, общей, даже не действовавшей, ванной и общей кухней. У них я обрела еще одну семью, которая буквально открыла мне свои объятия. Они в первый же день, даже не зная о том, что мне некуда приложить голову, дали мне ключ от квартиры и предложили приходить к ним в любое время отдохнуть, позаниматься, когда мне надоест шум и гам студенческого общежития.

От них я узнала семейную трагедию, которая произошла с Асей, когда ей было лет 16–17. Родители Аси жили в Германии, из Германии переехали в Россию, поселились в каком-то городе недалеко от черты оседлости. Федя родился в Германии, Ася родилась после приезда уже в России.

Ася, влюбилась в русского парня, и они объявили Асиным родителям, что решили пожениться. Реакция была жуткая. Пете запретили даже близко появляться возле Аси, а Асю прокляли и забили камнями до потери сознания. Парень от горя ушел в армию и там погиб, а от Аси семья отреклась. После смерти отца брат Асиной матери, профессор математики в МВТУ (Московское высшее техническое училище), перетащил свою сестру с сыном Федей в Москву.

Какими путями Ася, много лет спустя, оказалась учительницей в районе Геническа, я не знаю. Я была той соломинкой, которая связала ее с братом, но не с матерью.

Я познакомилась с Асей на какой-то учительской конференции, и с тех пор всегда, когда она приезжала из провинции в Геническ, она останавливалась у нас. Очень милая, веселая, остроумная, но могла вдруг как-то отключиться и стать по-детски странной, грустной, печальной. Вынимала из своей сумочки какие-то вещички и шептала: «Это от Пети». Кто такой Петя, я понятия не имела. Я даже думала, что она так невнятно произносит имя своего брата Феди.

И когда я уже была в Москве, мама написала мне, что Ася, как обычно, приехала к нам, и мама, поняв, что она очень больна, увезла ее в Днепропетровск в нервно-психиатрическую клинику на обследование. Мама ездила с ней не один, а несколько раз, пока врачи не сказали, что лекарств от такой болезни нет, и что постепенно ее состояние будет даже ухудшаться, и что никакое лечение ей не поможет. Летом Федя и Соня поехали к ней и провели у нее свой отпуск. Вот к ним я также могла зайти переночевать, но у меня не было угла, куда я могла бы прийти прилечь, отдохнуть и позаниматься.

Добрые люди

Я скиталась по библиотекам, читальням допоздна, и все время думала, где же я сегодня ночевать буду: у Клавдии Тимофеевны, Сони Сторобиной или у Тамарочки с Верочкой, которые так же, как и я, жили в этой кабинке на птичьих правах, так как временно уехавшие студенты могли вернуться в любое время. Я с детства была очень стеснительной, и для меня невыносимой пыткой было думать и решать каждый вечер, куда же я сегодня пойду ночевать, кого я должна сегодня побеспокоить, и это ведь было не на одну ночь, а уже второй год подряд. И до сих пор вспоминаю, как в холодную зимнюю стужу, бродя по Москве, как бездомная, я прошла мимо дома, где за окном в ярко освещенной комнате под ярко-оранжевым абажуром сидела за столом семья москвичей. И мне казалось, я была бы самая счастливая, если бы имела возможность быть в такой комнате, сидеть за таким столом.

Соня и Федя пригласили меня пойти с ними на какой-то юбилейный концерт. По дороге к ним в трамвае у меня сильно разболелась голова, а когда я вошла в комнату, первое, что услышала:

– Нина, ты вся горишь! Федя, дай термометр.

Температура была выше 39 градусов.

– В постель, немедленно в постель, – скомандовала Соня.

Хоть я и порывалась уйти, не знаю даже куда, но оставаться больной здесь, даже у таких милых людей, мне казалось, я ни в коем случае не должна. Они меня силой вернули, напоили чаем с медом, уложили и, взяв с меня слово, что я без них никуда не уйду, ушли на концерт. Когда они вернулись, температура у меня зашкалила за 40 градусов. Немедленно вызвали врача, и когда врач сказал, что нужно отправить сейчас же немедленно в больницу, Соня категорически заявила:

– Никуда я ее не отпущу, она останется здесь.

Врач выписал рецепты и уехал. Федин друг и начальник, с которым они меня познакомили раньше, тоже пришел с ними и сейчас помчался за лекарством искать какую-нибудь открытую в два часа ночи аптеку.

И здесь у них, в этой уютной маленькой комнатке, я проболела целую неделю. Соня спала со мной больной на одной кровати, Федя на диване. Они ухаживали за мной, как за самым близким, родным человеком, о больнице Соня и слышать не хотела. И это при моей стеснительности, когда я ушла бы даже с температурой 40 градусов, если бы хоть на секунду почувствовала, что я им в тягость. Разве такое забывается? Я всю жизнь храню в душе глубокую благодарность всем тем, кто так радушно и тепло меня принимал. Когда я приходила к Аннушке и слышала радостный, веселый голос Клавдии Тимофеевны и Владимира Николаевича:

– О, наша Нинца пришла!

Меня сажали скорее за стол, согревали горячим чаем и теплыми улыбками, так хорошо и легко становилось на душе, что я даже шутить и смеяться могла вместе с ними. А если я несколько дней не приходила к Соне с Федей, меня встречали вопросом:

– Куда ты пропала, мы тебя ждали!

По каким соображениям не знаю, быть может, потому, что выше головы не перепрыгнешь, или по каким-то другим соображениям, но вопрос об усиленных занятиях в две смены, без выходных и отпусков, для окончания института в два с половиной года, как-то сам собой отпал. И наши занятия начались со второго курса более или менее нормально. Эти нормальные занятия тоже были очень напряженные, мы не только слушали лекции, но нас просто заваливали заданиями для домашних и бригадных занятий, что заставляло нас сидеть до полуночи в читальнях или в опустевших аудиториях.

Так подходил к концу теоретический терм второго курса. До сих пор, когда вспоминаю, с трудом могу понять, как я могла, ведь я не просто баклуши била или гуляла, а занималась, причем очень напряженно, очень интенсивно, таскала с собой все учебники, когда даже тетрадь иногда не на чем было раскрыть. Торчала в читальнях до их закрытия, затем продолжала занятия на каком-нибудь подоконнике или где-нибудь прямо на лестничной клетке.

Ведь кроме этого надо было переодеться, умыться и вообще привести себя в порядок.

Трудно даже представить, что после таких тяжелых, напряженных занятий я даже не знала, где буду ночевать. В «Дом коммуны» ребята вернулись, Тамарочка ушла к своей сестре, которая училась в архитектурном институте, Верочку приютили родные из Тирасполя. Я опять очутилась между небом и землей. И вот в это время, когда Клавдия Тимофеевна уже поправилась, и женщина, которая за ней ухаживала, ушла, с ней вместе ушли все мои оставленные там вещи, и я даже ни словом не обмолвилась об этом, так я не хотела их беспокоить. И поэтому, когда пришло время ехать на практику, я восприняла это с огромным облегчением.

Красноуральский медеплавильный комбинат

В этот раз мы ехали на практику не всей группой, как раньше. Нас разделили на три бригады по семь человек. Наша бригада должна была поехать на производственную практику. Другие бригады студентов были направлены на другие предприятия с целью более широкого ознакомления со всеми предприятиями цветной металлургии, на которых нам предстояло в будущем работать.

В этом году перед поездкой на практику все студенты разъехались по домам на двухнедельные весенние каникулы, и на практику каждый ехал теперь самостоятельно, кто с Украины, как я, кто из Казахстана, кто с Кавказа, то есть, со всех концов нашей необъятной страны. Дорога нам полностью была оплачена, никто из своего кармана ни копейки не доплачивал.

Мне сказали, что в Красноуральск я могу ехать любым путем, через Свердловск или через Пермь. Дорога через Свердловск была мне хорошо знакома, и, желая увидеть что-нибудь новое, я решила поехать через Пермь.

Бурная ночь в поезде

Пермь – старинный город, расположенный на холме в живописной лесистой местности на берегу реки Кама и ее притока Чусовой. Суровая северная природа нехотя, с трудом уступала требованиям весны. Катила свои мутные воды красавица Чусовая, торопясь к полноводной Каме. Низко склонившиеся ивы полоскали в ней свои ветки. В лучах заходящего солнца ярко горел красноглиняный берег, и легкие челноки, управляемые опытными рыболовами-пермяками, скользили по реке. Эта дорога на Урал была фантастически красивая, особенно вдоль Чусовой.

«Какая неописуемая кругом красота! – думала я, глядя из окна медленно двигавшегося поезда. – Какая прелестная, прекрасная наша страна, какая природа! Жить бы и жить, наслаждаясь ею. Всем хватило бы ее щедрот и богатств».

Поезд без конца останавливался, казалось, что он нарочно решил у каждого пня стоять. Увлеченная мыслями и волшебным зрелищем северного заката, я не заметила, как в вагон постепенно, до отказа, набивался народ.

Скоро в вагоне стало совсем темно, свет никто не зажигал. Электрическое освещение в этом поезде отсутствовало. Свечей не было. Фонарь над дверью еле-еле мерцал. Народу набилось столько, что от спертого воздуха кружилась голова. На верхних полках сидели мужчины, свесив ноги над головой пассажиров, курили жгучую махорку и сплевывали вниз. Им повезло, они имели свои места. Между сиденьями и даже под лавками расположились пассажиры-«счастливчики» в самых непринужденных позах. Каждый лежал или сидел в обнимку со своим мешком или узлом. Куда эти люди ехали и зачем, непонятно. Внутри этого мрака и смрада раздавался детский плач. Так выглядел вагон, с наружной стороны которого было написано «Для женщин и детей».

Ночь была бурная, у кого-то утащили вещи, у кого-то украли кошелек с двадцатью целковыми. Одного ленинградского студента, ехавшего на практику, предупредили – будь осторожным, здесь воруют. Он и решил перехитрить воров, залез на верхнюю полку, привязав себя к чемодану, и уснул. Среди ночи раздался грохот, все всполошились, оказалось, всего на всего, вор дернул чемодан, а за ним с полки на головы спящих пассажиров свалился находчивый студент. Появившийся проводник с фонарем обнаружил нескольких мужиков волтузивших друг друга, а вора и след простыл.

Утром я даже не смогла пойти умыться, уборную за ночь так загрязнили, что вместо того, чтобы вымыть и почистить, проводник ее просто запер.

Рядом со мной сидела женщина с грудным младенцем, ее ребенок заплакал, она вытащила кусок черного хлеба, разжевала во рту, завязала узлом в тряпочку и сунула ему в рот. Ребенок жадно засосал и утих.

Вечером в наше купе зашел пассажир, на вид очень больной, утром среди пробудившихся пассажиров его не было видно.

– Куда девался наш сосед, он показался мне таким больным. Он, что сошел? Обратилась я к соседке.

– А тебе на что он нужен? Чать, вон под лавкой дрыхнет.

Но вскоре пришел контролер по проверке билетов и кондуктор начал толкать его, пытаясь разбудить.

Моя соседка не выдержала:

– Чего бьешь-то, погляди, может, он уже помер, вчера сидел здесь опухший, точь его целая колода пчел искусала.

Слова ее подействовали, мешки и узлы растащили в стороны и вытащили его мертвое тело.

Появился милиционер, врач – составили протокол.

Я подошла к молодому пареньку, которого все называли доктором:

– Скажите, вы местный врач?

Он посмотрел на меня, видно понял, что я студентка.

– Нет, я студент медик, здесь на практике. А вы куда едете? Тоже на практику?

– Скажите, отчего он так внезапно умер?

– Болезнь у всех одна – голод. А вы откуда, из Москвы?

– Из Москвы.

Труп унесли, и студент вышел вслед за ним.

– Равелин, – прервал мои мысли один из пассажиров.

Небо было затянуто низко нависшими свинцовыми тучами, шел мелкий частый дождик. Земля, деревья и серое здание Равелина были оплаканы дождем.

– Знавал я эту тюрьму, сидел там, как политический, три раза бежал, три раза ловили и снова сажали, – как бы про себя вспоминал мой сосед.

Тюрьма – это слово всегда вызывало у меня острое любопытство, пробуждало чувство жалости к тем, кто должен сидеть там. Как дорого должно быть слово «свобода» для тех, кого отделяет от внешнего мира высокий забор с башнями по углам.

Мой спутник рассказывал о своем прошлом, глаза его лихорадочно блестели, рассказ его то и дело прерывался удушливым кашлем.

В прошлом он был студент Томского университета, участвовал в подпольных кружках, за что сажали, а сейчас вот инвалид – едет искать работу.

– Говорят на Красноуральском медеплавильном предприятии снабжение лучше.

Красноуральск

Вот и приехали. По перрону вдоль поезда бегала баба, предлагая красные сочные ягоды – клюкву:

– Рубль стакан, два стакана полтора, сладкая, как сахар!

Дождь продолжал моросить, но на него никто не обращал внимания. Народ потащился с узлами на вокзал.

Я купила стакан клюквы, сначала от кислоты сводило челюсти, но она хорошо освежила, даже голова перестала болеть.

Ребята меня встретили гурьбой.

– Вы что, так здесь и дежурите? – поинтересовалась я.

– Да видишь ли, всегда кто-нибудь приезжает. Ну как бы ты без нас свой чемодан дотащила? – И правда, ведь никакого транспорта и в помине не было.

А несколько дней спустя из Кемерово приехала еще одна студентка из нашей группы и мой близкий друг Ольга Файер. Ее отец был директор гигантского коксохимического комбината в Кемерово, который должен был, так же как и наш Красноуральский комбинат, снабжаться продовольствием не только в первую очередь, но даже лучше.

Красноуральский медеплавильный комбинат был расположен в бывшем поселке Уралмедьстрой Свердловской области. В 1932 году его переименовали в город Красноуральск.

Здесь и была построена новая обогатительная фабрика, новый гигантский медеплавильный металлургический завод, административно-подсобные помещения комбината, а вокруг бараки, бараки, бараки с еще не выкорчеванными вокруг них пнями от срубленных деревьев, и все это окружено девственно дремучим лесом.

Бараки абсолютно неблагоустроенные, неосвоенные, необжитые. В нашем, студенческом, в большей его части размещались ребята – человек 60, а в меньшей половине – наша женская группа, 8 человек. Здесь были студенты из московского, ленинградского, владикавказского и даже дальневосточного институтов.

Наши койки в этих бараках стояли вдоль стен, сложенных из неотесанных бревен, щели в которых были забиты паклей. Посреди комнаты стоял стол и рядом «буржуйка», которую мы топили перед сном, чтобы теплее было раздеться и лечь в постель, а утром наши одеяла и простыни примерзали к бревнам и мы с трудом их отдирали.

Но не в этом еще была главная беда. Главная беда была в том, что все были голодные, а в магазинах было абсолютно пусто.

Здесь были студенты не только такие, как мы, младших курсов, но и студенты-выпускники, без пяти минут инженеры. Их прикрепили к столовой ИТР – то есть к столовой инженерно-технических работников, где давали еще какую-то похлебку, похожую на суп, и перловую кашу с клюквенным киселем. Эти ребята сразу предложили прикрепить меня к этой же столовке ИТР, но я категорически отказалась. А как же все остальные? А было нас всех, ни много, ни мало, человек 70–80, и все ходили голодные.

Перед началом смены мы вместе с рабочими заходили в столовую на предприятии, где рабочие должны были получать горячий завтрак, обед и ужин. Но здесь на стол всем подавали тарелку желтовато-прозрачной жидкости, где буквально плавала пара перловых крупинок, стакан мутной воды, заваренный какой-то травой – чаем даже не пахло – и тонюсенький ломтик хлеба. Не преувеличиваю ни капельки, именно так и было.

Мне было больно и жутко смотреть на этих здоровенных металлургов за столом с такой едой, после которой им предстояло стоять у раскаленного горла металлургических печей.

Здесь с питанием было гораздо хуже, чем в прошлом году в Казахстане. И так же, как в Риддере, на пустых полках в магазинах вдруг появились, правда, не духи, а роскошные… ковры. Такие красивые, что даже, когда мы вышли из магазина, Оля не выдержала и заявила:

– А что, если я продам свое кожаное пальто (в котором она ходила) – и куплю ковер?!

– Ты что, собираешься завернуть себя в ковер для тепла? – спросила я.

Кому в этих жутких бараках нужны были эти роскошные ковры? Какие идиоты, из каких соображений засылают в такие места, где живут в таких тяжелых условиях голодные люди, такие никому не нужные вещи роскоши, как духи, ковры?

Голодная забастовка

Через несколько недель после начала нашей практики, как всегда, наша утренняя смена шумно и весело шла на работу, но чем ближе подходили мы к заводу, тем тревожней всем становилось – к производственному грохоту мы уже привыкли и даже не замечали его, а вот тишины испугались. Нас поразила мертвая, абсолютно мертвая тишина. Что случилось, неужели авария? Неужели такая большая авария? Было также странно, что по пути мы не встретили никого из рабочих, идущих на смену или со смены.

Когда пришли на завод, мы все были потрясены. В пугающей тишине мы ходили из цеха в цех – ни одного рабочего, ни одной души, заброшенные агрегаты: перестали грохотать дробилки, застыли флотационные ванны и сгустители-сушилки. Начали остывать медеплавильные печи. Нам стало жутко, привычные вещи пугали, страшно было смотреть на умолкнувший гигант.

Ночная смена ушла, а утренняя смена не явилась на работу. Нам всем было ясно, почему. Значит, *забастовка.* Это слово было непривычно нам, и не только слово, а сама суть. За-бас-тов-ка… Где?!! У нас, в Советском Союзе!!! Я посмотрела на Ольгу, губы ее дрожали, глаза были полны слез. Я сама старалась крепиться, но горький ком застрял у меня в горле.

Нет слов передать, какую горечь испытывали мы с Ольгой.

Нам казалось, что в нашей стране при советской власти такой несправедливости к рабочим не может и не должно быть. Мы считали, что самая большая привилегия должна предоставляться тем, кто тяжело работает, стараясь накормить, напоить, одеть и обуть всю страну. И если трудно – то должно быть трудно всем в одинаковой степени.

Это не была забастовка с плакатами, с требованиями к администрации, рабочие просто не вышли на работу.

Так продолжалось несколько дней. И вдруг я увидела, как на территории завода у трансформаторной будки поставили стол и рабочим стали выдавать хлеб. На этом комбинате по контракту работал *американский инженер* мистер Кант. И самым потрясающим для меня было, когда я узнала, что он отправил лошадь с пролеткой (это был прикрепленный к нему лично «транспорт») на железнодорожную станцию «Верхняя» в 12 км от Красноуральска, где стоял эшелон с продовольствием, который кто-то загнал на запасные пути, и привез оттуда несколько мешков муки. Напекли хлеба, раздали рабочим. Рабочие, получив по буханке хлеба, покорно пошли на работу. Я помчалась к директору:

– Почему это сделал *американец,* а не вы? – кричала я, задыхаясь от слез.

– Ему дали для своих собственных нужд, а попробовал бы сунуться я… Я уже сколько раз телеграфировал в Москву, надеясь скоро получить ответ… – лепетал он, и еще что-то менее внятное.

У меня было чувство, как будто мы все получили пощечину. Мне казалось, все, что происходит, это чистой воды вредительство: за 12 км от Красноуральска загнали эшелон продовольствия куда-то на запасные пути, вместо того чтобы доставить это продовольствие в Красноуральск, и как в насмешку заполнили прилавки коврами.

На работе ко мне подошел рабочий:

– Знаете, – сказал он, – увидев поступок иностранца, мне стало стыдно, да стыдно, стыдно за себя, за нашу администрацию, за наше правительство, которое довело нас до такого состояния. Килограмм хлеба не избавил от голода ни меня, ни мою семью, но я почувствовал боль и стыд за всех нас и вышел на работу.

В ту же ночь я написала письмо Н. К. Крупской: «До какой *низости* опустились наши верхушки, чтобы инженер-иностранец так утер им нос. Достал муку, напекли хлеба, раздали рабочим, и рабочие вышли на работу. Как мы в нашей стране могли допустить до этого?»

Я не думала о том, что мое письмо может попасть в другие руки. О том, что меня могут арестовать, сослать, мне даже в голову не приходило такое, за что? Ведь не о своем личном благополучии я волновалась, я болела за судьбу таких людей, от которых, как мне казалось, зависела судьба и благополучие всей нашей страны.

Что такое эксплуатация?

На практике я крепко подружилась с Олей. После рабочей смены мы шли с ней на прогулку подальше от ужасных рабочих бараков, от пней и катакомб, окружавших наш поселок, в прекрасный, девственно чистый дремучий лес, в котором так легко дышалось.

Возвращаясь с прогулки, мы выбирали пень поудобнее, садились на него и читали, читали, запоем читали, чуть ли не до утра, все, что можно было достать в здешней библиотеке: Шекспира, Пушкина, Достоевского, Драйзера, останавливались, перечитывали друг другу те абзацы и те мысли, над которыми уже давно задумывалось человечество.

В наши 18–20 лет мы думали, мучительно много думали о справедливости, о счастье для всех людей на свете. В Красноуральске в эти весенние и летние месяцы были белые ночи, и мы могли читать почти всю ночь до утра.

Пустые магазины, пустые рабочие столовые, которые довели рабочих до прекращения работ. Все это потрясло нас.

Я вспомнила, как, сидя на пенечке, мы с Олей обсуждали вопрос об эксплуатации. Что такое эксплуатация? Это значит, что рабочий не получает достаточное вознаграждение за труд, который он вложил. Если он работает на хозяина и хозяин ему недоплачивает, значит, хозяин его эксплуатирует, а если он работает на государство, значит, государство его эксплуатирует.

Да, это так, но ведь государство те деньги, которые недоплачивает нам, тратит на благо для народа. Строит заводы для всех, прибыль идет на улучшение жизни все тех же людей, которые строят эти предприятия. Ведь мы, народ, прямо или косвенно являемся хозяевами этих предприятий. Государство строит для нас школы, университеты, учеба у нас бесплатная, медицина бесплатная, лекарства тоже, квартиры бесплатные, санатории, дома отдыха, да и транспорт наш копейки стоит.

В наших санаториях ведь рабочие из самых отдаленных уголков нашей, ты понимаешь, *нашей* родины. Мне кажется, что весь мир живет в своих странах, как будто в снятой, арендованной квартире, мы же всюду, как дома. Кто же мешает нам жить нормально? Почему же надо доводить людей до забастовок? До голода? Ведь лучше нашей системы в мире нет.

Так рассуждали мы с ней, сидя в белые ночи на пенечке возле нашего барака на Урале.

Студенческая столовая

Тогда я решила (если кто остался жив, могут подтвердить) организовать столовую в нашем бараке для студентов. Заставила ребят построить с нашей, женской, стороны барака плиту, натаскать и наколоть дров, нашла кухарку, жену какого-то ссыльного. Кто-то из еще более ретивых подсказал мне: а знаешь, она жена ссыльного.

– Ну и что? – ответила я. – Готовить она, наверное, умеет.

Достала продукты, да, их действительно надо было доставать. Когда я пришла к заведующему по продовольственной части и потребовала подписать заявку на продукты, он заявил:

– Склад пустой, продуктов нет.

– Хорошо, – ответила я, – тогда мы пишем вот здесь вместе с вами в Москву рапорт о том, что мы, студенты, посланные сюда на практику со всех концов Советского Союза, немедленно разъедемся обратно, если вы не сумеете помочь нам организовать соответству-

ющее питание. Кто-то за это должен будет ответить. Нас же прислали сюда не в шашки играть, за все это наше государство платит.

Он понял, что я не собираюсь уступать, и после долгого и упорного сопротивления, после долгих препираний, скрепя сердце, подписал мою заявку: на крупу, макароны, рис, масло, сахар и даже соль.

– Я выдаю вам продукты из продовольственных запасов для детей, – заявил он в свое оправдание.

Значит, на складах были какие-то продукты, их придерживали, и это еще раз убедило меня в том, что все, что происходит, это тоже вредительство чистой воды, и так было уже нестерпимо голодно, а здесь еще старались попридержать те маленькие запасы, которые еще где-то хранили. И так продолжалось три месяца до самого дня моего отъезда: каждую неделю со мной на склад шли пять студентов, они тащили оттуда продукты для нашей столовой, кололи дрова, приносили воду, и вообще, все по очереди дежурили и обслуживали нашу столовую с трехразовым питанием. И когда я уже была в Москве, встретив приехавших после нас студентов, спросила про организованную мной столовую. Они ответили:

– Как только ты уехала, сразу все распалось.

Мы с Ольгой до нашего возвращения в Москву решили собрать группу студентов, желающих поехать из Красноуральска в Магнитогорск на Магнитогорский металлургический комбинат провести на этом предприятии недельку нашей практики. Это был тоже один из первых строившихся гигантов нашей новой социалистической индустрии. Даже не достроенный, работая не на полную мощность, он производил грандиозное впечатление, его строительство было закончено только в 1934 г.

Полпути от Красноуральска до Магнитогорска мы прошли пешком. По дороге собирали ягоды, а их было здесь такое количество, что когда мы предложили какой-то женщине собранные нами ягоды, она напоила всех нас молоком.

Здесь, на этом комбинате, с продовольствием было благополучнее, чем в Красноуральске.

Гибель Марии

Возвращались мы обратно из Красноуральска в разгар лета не через Пермь, а через Свердловск. Наши проездные билеты были настолько гибкие, что позволяли нам пользоваться ими так, как нам было удобно. День мы провели в Свердловске, в походах по музеям, посетили даже дом Ипатьева, где в 1918 году был расстрелян последний царь России Николай II с семей, прошли по всем этажам, даже спустились в подвал, где произошла экзекуция.

– Неужели нельзя было поступить иначе? – спросил кто-то из нас.

– Нет. Колчак был уже у ворот Свердловска, и это решило их судьбу, – ответили нам.

Никому тогда и в голову не приходило, что найдется когда-нибудь кто-то, кто бульдозерами в течение ночи развалит этот дом. Он стоял при Ленине, он стоял даже при Сталине, и кому он помешал???

Проголодавшись, мы пошли искать прославленную фабрику-кухню. В этом колоссальном здании, напоминавшем снаружи скорее тюрьму, чем ресторан, постояв в длинной очереди, мы получили такой обед, что даже нас, студентов, привыкших ко всему, он поразил. И здесь же, на этой фабрике-кухне, нам, как студентам, выдали кое-какие продукты на дорогу.

Понятно, что по возвращении в Москву даже полупустая Москва показалась нам краем изобилия.

Вовсю торговали торгсины, в этих магазинах было все. Мне очень хотелось приобрести белый фетровый берет, но приобрести его можно было только в торгсине и, конечно, только за золото.

У меня была массивная золотая брошь, подарок моей бабушки на мой шестнадцатый день рождения, я решила эту брошь продать, тем более что носить золотые украшения считалось мещанством.

Мне было жаль расстаться с подарком, но желание щегольнуть в новеньком берете взяло верх, и я подала его в кассу, где золото обменивали на бонны. Поверите или нет, мне даже самой трудно поверить, но приемщик сказал мне:

– Ваша золотая брошь стоит 76 копеек.

А берет стоил 90 копеек. Золотая брошь величиной в полсигары не стоила одного фетрового берета!

Торгсины превратились в рай для спекулянтов, вместо помощи государству. При мне приходили женщины, приносили роскошные ювелирные изделия с драгоценными камнями, приемщики золота выдергивали драгоценные камни и выбрасывали их, как будто ненужный хлам, и взвешивали только золото. Немудрено, что эту лавочку довольно скоро прикрыли. На этом деле наживалась кучка ловких, мягко говоря, махинаторов.

До начала занятий я решила недели на две поехать домой в Геническ. По дороге в Геническ в Харькове я встретила Марию, и мы вместе решили провести эти две недели на море. Мария, вернувшись из Москвы в Харьков, решила в Москву не возвращаться и поступила в Харьковский мединститут.

Дома мне сообщили страшную весть, что где-то в горах погиб Миша, что старались и не могли со мной связаться. Его друг Виктор немедленно после похорон уплыл, а мать в жутком состоянии увезли к себе какие-то родственники из Одессы. Мне было нестерпимо тяжело, я не знаю, как бы я пережила эту уже вторую в моей короткой жизни тяжелую потерю, такого, как мне уже казалось, близкого мне человека, если бы не Мария. Смерть Миши ее тоже очень глубоко тронула, мы обе притихли.

По дороге обратно в Москву я остановилась на пару дней с Марией в Харькове. Здесь нас встретил наш общий друг Федя Михайлов, мы рассказали ему все, он изо всех сил старался развеселить нас и сделать наше пребывание в Харькове приятным. Через несколько дней я уехала в Москву, Федя в Ленинград. Это была моя последняя встреча и с Марией.

Очень скоро я получила от нашей общей подруги Клавы Пыляевой письмо, что наша общая любимая подруга Мария погибла, попала под автомобиль – бежала, чтобы не опоздать в театр. И откуда взялся этот автомобиль? Ведь было-то их тогда на весь Харьков столько, что можно было по пальцам пересчитать.

Это была уже третья трагическая потеря самых любимых, самых близких мне людей, и если бы не друзья, мне кажется, я бы не пережила. Федя, как услышал, моментально приехал из Ленинграда в Москву и всеми силами старался успокоить меня, привести в нормальное состояние. Мы вместе поехали в Харьков, навестили ее могилу, посадили цветы. Федя боялся оставить меня одну и всеми силами старался уговорить меня уехать с ним в Ленинград.

Третий курс

Вербовка на остров Шпицберген

Теперь я уже была студентка 3 курса, и после двух таких тяжелых, мучительных лет должна же была, наконец, получить общежитие в нашем знаменитом, так называемом «Доме коммуны», строительство которого вроде бы закончилось или подходило, наконец, к концу.

И вдруг в это время прошел слух, что Народный комиссариат образования издал приказ – видно приняв во внимание катастрофическое положение студентов с общежитиями – разрешить студентам получать годичный отпуск для работы на периферии с полным правом, вернувшись через год, продолжить учебу.

Мы с Ольгой немедленно решили отправиться на год куда угодно, в любую тьму тараканью, попробовать свои силы. Я – после всех моих таких тяжких испытаний, в надежде успокоиться, а также в надежде, что через год условия с общежитием улучшатся. Ольга – просто со мной за компанию. Кто-то в Наркомате образования подсказал нам, что идет большая вербовка персонала на острова Шпицберген, там в то время были совместные советско-норвежские концессии. Мы немедленно помчались туда и немедленно получили годичный контракт в «Арктуголь».

Архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане, до 1920 г. считался «ничьей землей» и только в 1920 г. был подписан договор по Шпицбергену, провозгласивший над ним суверенитет Норвегии, но при этом любое государство также имело право вести там любую научную и экономическую деятельность. Советский Союз быстро присоединился к этим условиям, и Норвегия официально признала, что Советский Союз имеет на этом архипелаге особые экономические интересы.

Условия работы и оплата были великолепные, часть зарплаты выплачивалась даже валютой. Снабжение в это тяжелое для страны время было там просто царское. Здесь я должна не просто сказать, а даже подчеркнуть, что при советской власти там, где не вмешивались спекулянты, а государственные продукты направлялись прямо на снабжение экспедиций, все шло великолепно.

Нас не испугало даже то, что там три месяца полярная ночь, арктические морозы, а основные «аборигены» – белые медведи, и нам рекомендовали без вооруженных провожатых не выходить на прогулки. Ну что ж, решили мы, там тоже люди живут, поработаем, оденемся, соберем немного денег, вернемся и спокойно закончим образование. Так мы уже собрались в долгий путь.

Но так же вдруг и так же неожиданно этот приказ отменили и постановили вернуть всех студентов обратно на учебу. Это еще были те годы, когда быстро и просто издавались приказы, которые так же быстро и просто отменялись. Казалось, что вся жизнь идет еще как-то на ощупь.

Общежитие «Дома коммуны»

Итак, наконец, мне выдали временный ордер в общежитие «Дома коммуны» во 2-м Донском проезде на кабинку временно отсутствовавшего студента последнего курса, который вот-вот должен был вернуться с практики.

Наш «Дом коммуны» – теперь уже «наш», это оригинальное здание, шедевр современного архитектурного искусства, было похоже на корабль, на фабрику и бог знает на что еще.

Углов у этого здания не было, они были закругленные, как башни, а круглые окна-иллюминаторы и овальные трубы на плоской крыше еще больше подчеркивали его сходство с пароходом. При входе обширный вестибюль, почта, студенческая столовая, кафетерий, огромный физкультурный зал, медицинский кабинет с дежурившим круглосуточно врачом, на втором этаже кинотеатр, библиотека, читальня, комнаты для занятий, а дальше шли жилые помещения.

Жилая часть здания делилась на две половины: южную и северную, вдоль длинных узких коридоров справа и слева были двери, которые не открывались, а просто отодвигались как в вагонах, и комнатки, которые мы называли кабинки… Кабинки были размером два метра в длину на два с половиной в ширину. Они напоминали матросские каюты на пароходах, в них нельзя было заниматься, считали, что студенты будут заниматься в учебных помещениях, в читальне, а здесь только ночевать. В этих кабинках помещались две узенькие кровати и между ними ровно столько свободного места, чтобы можно было пройти присесть или лечь на кровать.

А все подсобные помещения находились далеко. Так, например, принять душ можно было один раз в неделю, когда давали горячую воду. Чтобы сходить в туалет, умыться, помыть руки или просто выпить глоток воды, надо было бежать вдоль этого длиннющего коридора к середине здания, почти два блока, а чтобы достать горячую воду из кубовой для чая, вообще надо было спуститься в подвал. Удобства были «те еще». Но несмотря ни на что, здесь жили даже семейные студенты с детьми.

Новое здание

В это же самое время мы, наконец, переехали из здания Горной академии на Большой Калужской, 14 в новое, еще далеко не достроенное, здание теперь уже нашего Института цветных металлов и золота на углу Калужской площади и улицы Коровий Вал, 3. Так называлась улица, которая спускалась прямо к Парку культуры и отдыха им. Горького. Вокруг нашего нового непривлекательного, темного грязно-серого цвета здания были горы стройматериалов, цемента, глины, песка, кирпичей и глубокие котлованы, в которых легко можно было ноги сломать при входе.

Занятия наши начались в мрачном неоштукатуренном, неотапливаемом здании, где полным ходом продолжались строительные работы по монтажу отопительной системы. С первого до четвертого этажа в каждой аудитории были по углам дыры для прокладки труб, и, несмотря на наши лекции, стук и грохот не только не прекращались, а иногда с первого до четвертого этажа сопровождались такой сочной матерщиной, что заглушали даже голоса преподавателей.

Мы мерзли на лекциях, ноги-руки коченели, карандаш нельзя было держать в руках, сидели в пальто, в перчатках, поджав под себя окоченевшие ноги. Когда профессор вызывал к доске, то терпеливо ждал, давая время надеть обувь на окоченевшие от холода ноги. И только во время перерыва мы вылетали из аудиторий в коридор, где стояла наша буржуйка и, подбросив в нее дрова, окружали ее плотным кольцом, грели озябшие руки и, с трудом разжимая застывшие челюсти, пели охрипшими голосами. Каких мы только песен не перепели за это время – тоскливых, веселых, бодрых, боевых.

– Атмосфера вполне подходящая, чтобы мозги не протухли, – шутили студенты.

А на занятия в лаборатории почти до окончания института ходили в старое здание Горной академии на Большую Калужскую, 14 и на Шаболовку.

Было еще одно место, где требовалось затратить уйму времени и нервов – это на походы в столовую, на стояние в очередях, где, так же как и повсюду, не хватало мест, столов, стульев, посуды, стаканов, тарелок, ножей и вилок. Самыми радостными днями были

походы в баню, где так же в раздевалках надо было стоять в очереди, не хватало мест, не хватало мыла (один из наиболее дефицитных продуктов), где за каждую шайку и за каждый кусочек мыла надо было бороться. Я до сих пор помню, как однажды я в центре города встретила знакомого из Геническа, который работал завхозом где-то у Измайловского парка, и я поехала в такую даль, чтобы получить кусок мыла по знакомству. И какое это было замечательное приобретение!

И в этих невероятно трудных условиях все старались помочь друг другу.

Встречи с женой Сталина

Приятная неожиданность

Почти в начале семестра, незадолго до Октябрьских праздников, сидя уже пару часов в томительном ожидании своей очереди в парикмахерской Гранд-отеля, в одном из красивейших зданий на площади Революции (парикмахерские даже для нас, для студентов, были вполне доступны), я увидела, как вошла женщина, у гардероба сняла пальто, шляпу, подошла к зеркалу и каким-то далеким, знакомым жестом стала поправлять волосы.

Московская жизнь в то время меня уже достаточно «разложила», хотя комсомольская этика, особенно в провинции, еще не поощряла применение косметических средств, но никто из моих московских друзей этой «этики» особенно не придерживался. И мне приятно было появиться среди своих друзей хорошо причесанной и с маникюром, а друзей и знакомых у меня в это время появилось уже очень много.

«Где я ее видела?» – начала напрягать я свою память. Что-то далекое-далекое промелькнуло в моей памяти. Голодный год, молодой, задорный адъютант с женственной улыбкой, потом Гуляйполе… и очаровательная Наташа.

Какое сходство. Она взяла в руки газету, потом журнал, но я чувствовала, что она, в свою очередь, тоже наблюдает за мной, и вдруг, быстро пересев на освободившийся возле меня стул, спросила:

– Как ваше имя?

– Нина, – и я очутилась в ее объятиях.

– Нина, родная, как я рада! Я Наташа, ты меня помнишь? Скажи, помнишь? Какая взрослая, красавица, вылитая мать, как я рада, какая приятная неожиданность… Как мама, папа, Шурик? У меня есть сын Майка, хороший мальчик… Я сейчас позвоню Косте… – и она снова бросалась меня целовать. – Нет, только подумать, где и как встретились, свет мал! Пойдем к нам, мы только что приехали, и живем еще здесь недалеко, в гостинице «Националь»…

Наташа говорила как фонтан, ей хотелось высказать все и сразу.

– А ты мне расскажешь все-все, обстоятельно, подробно дома.

Наташа пыталась поступить в Промакадемию им. Сталина. Костя работал в промышленном отделе Наркомтяжпрома, и его только что перевели из Днепропетровска в Москву.

Я сказала, что не могу пойти к ней сегодня, а завтра приду с удовольствием.

– Приходи завтра к обеду обязательно, я познакомлю тебя с Надей Аллилуевой, моей подругой, которую я знала еще в моем далеком детстве и тоже встретилась с ней случайно здесь, в Москве.

Для меня это имя было пустым звуком, я не помнила даже, чтобы когда-нибудь слышала его.

Знакомство с Надеждой Сергеевной Аллилуевой

На следующий день я встретила Наташу в дорогом, но неуютном номере гостиницы «Националь». Обедали мы одни, Надя позвонила, что придет к чаю. Обед Наташа получила в кремлевской столовой, в меню этого обеда меня поразил компот из консервированной черешни. Я знала черешню во всех ее видах, но никогда не слышала о консервированной

черешне. Деликатес, который можно было достать только в правительственном магазине или в торгсине, и который каждый раз Наташа мне вручала, когда я заходила к ней.

Наташа стала рассказывать мне, что Костя недавно вернулся с Днепростроя, где только что закончилось колоссальное строительство Днепрогэса.

– И как всегда он в своем докладе, – говорила Наташа, – в резкой форме критиковал руководство и настойчиво требовал улучшения условий труда, снабжения и ускорения жилищного строительства для рабочих.

– Знаешь, Наташа, я Костю очень хорошо понимаю, – я стала рассказывать ей о нашей практике в Красноуральске.

– Вот я Косте и говорю, что новое поколение…

– Понимает, за что мы боролись, – раздался сзади меня мужской голос.

Я обернулась и увидела за своей спиной Костю, возмужавшего, ставшего еще красивей. Вот его бы я узнала где угодно.

Мы крепко расцеловались.

– Нет, это просто невероятно, – оглядывая меня со всех сторон, говорил он. – Ведь была вот такая, как Майк, сидела у меня на коленях, засыпала у меня на руках…

– Нина уже на третьем курсе института, была на практике в Красноуральске и рассказывает, что там то же самое, что и на Днепрострое.

– Все видят, разве слепой только не заметит, – с горечью заметил Костя.

Раздался звонок, Наташа поднялась:

– Ну, вот и Надя идет.

В комнату вошла молодая интересная, скромно одетая женщина. Темные, гладко зачесанные волосы, разделенные прямым пробором, большие, красивые темные глаза на овальном лице со смугловатым оттенком и приятная улыбка делали ее очень привлекательной.

– Познакомься – дочь нашего бывшего командира во время гражданской войны. А какой это человек, Надя, настоящий! Ну, а как себя чувствует благоверный?

Надя, глядя на Костю, крепко пожала мне руку.

– Я, товарищи, к вам на минутку, спешу, зашла только повидаться, особенно с Костей.

– Вот и хорошо, пошли скорее чай пить, у меня вкусное кизиловое варенье, с Кавказа прислали.

– Мое любимое варенье, напоминает мне лучшие годы моей жизни…

– Ну что за настроение? Как будто у тебя все в прошлом.

– Пожила бы ты на моем месте, – Надя повернулась к Наташе и начала ей что-то рассказывать.

Мы с Костей начали вспоминать прошлое.

Надя повернулась к нам:

– Расскажи, Костя, пожалуйста, что на Днепрострое? У меня, кстати, вчера был крупный разговор по этому поводу.

– Что тебе рассказывать, считаю, в таких случаях самим полезно туда съездить и посмотреть, тем более что Промакадемия как раз и готовит руководящие кадры для промышленности, – уклончиво ответил Костя.

– Ты совершенно прав. Действительно, хорошо самим съездить посмотреть. Я вот получаю сотни писем с жалобами, все пишут, как трудно. Пишут малограмотные Мани, Тани, Пети, разве можно им не верить, ведь им письмо написать труднее, чем котлован вырыть. Я показала несколько этих писем Орджоникидзе и Кагановичу. И знаешь, что мне Каганович ответил? «Стоит тебе обращать внимание на всякие контрреволюционные кулацкие вылазки. Я ведь тоже получаю сотни писем от кулаков. Никакие крупные государственные мероприятия не могут проводиться без жертв».

– Ну, знаете, – вскипел Костя, – такого цинизма трудно придумать. Он считает себя большевиком, а знает ли он, что из тех, кого мы раскулачиваем, 90 % были до революции бедняками или середняками. Новая экономическая политика дала им возможность окрепнуть, мы пошли им навстречу, поощряли – выдавали им субсидии, премировали образцовые хозяйства, чтобы за ними тянулись другие. Мы многое сделали для того, чтобы заинтересовать крестьянство к работе. Мы достигли того, что в деревнях не стало той части крестьянства, которое не хотело бы работать. Следовательно, мы дали возможность значительной части крестьян, да – значительной, подчеркиваю, стать зажиточными. А теперь… – Пусть подыхают, как классово-чуждый элемент, так получается?

– Зачем горячиться, разве нельзя потише, – вмешалась Наташа.

Надя нервно зашагала по комнате:

– Я понимаю Костю, спокойно об этом не скажешь, кричать нужно об этом. Беда наша в том, что мы окружены вражескими странами, подстерегающими каждое наше слово и со злорадством ожидающими наших ошибок и промахов. Это заставляет нас молчать в печати о наших недостатках, но между собой мы обязаны говорить откровенно, иначе притупится все наше партийное чутье и мы, привыкнув считать, что у нас все хорошо, перестанем стремиться к лучшему (мне эта ее реплика очень понравилась). Костя, ты докладывал о положении на Днепрогэсе?!

– Представь, доложил, что народ живет там в невыразимо тяжелых условиях: жилищные условия ужасные, снабжение отвратительное, оборудование до-по-топное, – протянул он. – Лопате надо дать орден, она все вывозит.

Ты знаешь, я предложил некоторые практические меры для улучшения жизни и условий труда рабочих, а некоторые умники, такие, как Каганович, знаешь, что ответили? «Мы строим там не курорт, а промышленный гигант, когда достроим, тогда выдадим путевки на курорт тем, кто этого заслужил».

– Вернее тем, кто жив останется, – присушиваясь к их разговору, не выдержала даже я.

– Если бы ты видела, как на меня набросились, от «твоего» досталось больше всех: «Ты еще партизан, на работе не нужна *партизанщина,* у нас все идет по плану».

– Да, Костя, тебе нелегкая борьба предстоит, держись крепче, пусть кричат «партизанщина», в этом ничего нет оскорбительного. Не уступай, ты хозяин производства.

– Я-то не уступлю, да меня могут «уступить», – засмеялся он. – Ты бы видела, какая радость была у этих людей, когда им выдали по буханке белого хлеба по случаю такого торжества.

Надя заторопилась.

– Ну, куда ты торопишься, посиди еще немного, – просила Наташа.

– Не могу, в другой раз, я и так засиделась.

Проводив Надю, Наташа вернулась и сообщила:

– Это жена Сталина, у нее разные домашние неприятности, а вообще она очень веселая и остроумная.

На меня не произвело никакого впечатления это сообщение, она мне просто сама понравилась.

Кто бы из присутствующих мог в эту минуту подумать, что эта молодая, цветущая женщина за два месяца до окончания Промакадемии покончит жизнь самоубийством. И что у этой, с виду такой хрупкой, женщины хватит мужества дважды нажать курок, когда она почувствует, что первый выстрел не смертельный.

Завидный жених

Вскоре после встречи с Надей, Наташа познакомила меня с Николаем Васильевичем Гриневым. Он преподавал в Военно-воздушной академии и в Промакадемии. Выглядел он очень солидно, мне казалось, старше моего папы. С первого дня нашего знакомства он начал усиленно за мной ухаживать. У него была жена где-то в Свердловске, с которой он не то разводился, не то уже развелся. Ходил он чаще всего в военной форме, иногда переодевался в гражданскую форму – желтое кожаное пальто, голубой шарф – и старался выглядеть моложе. У него была большая трехкомнатная квартира на Большой Пироговке. Продукты получал в правительственных магазинах, питался в правительственных столовых, от женщин у него не было отбоя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.